

Б И Б Л И О Т Е К А

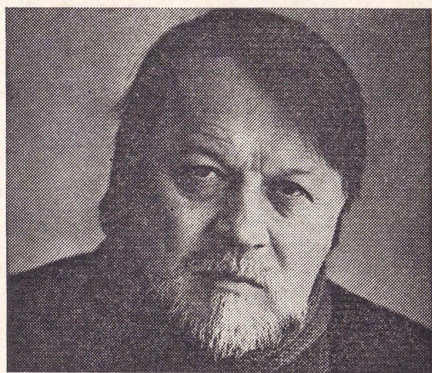
ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 24

1987



*Михаил РОЩИН*

# ЧЕРТОВО КОЛЕСО В КОБУЛЕТИ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ПРАВДА»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 24

Михаил РОЩИН

# ЧЕРТОВО КОЛЕСО В КОБУЛЕТИ

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»  
1987

Михаил РОЩИН

Михаил Михайлович Роцин родился 10 февраля 1933 года в Казани, вырос в Севастополе, учился в Москве, в 1958 году окончил заочно Литературный институт им. А. М. Горького. Работал на заводе, в газете, в журналах «Знамя», «Новый мир», «РТ» (радио и телевидение). Первый рассказ был напечатан в газете «Московский комсомолец» в 1952 году, в 1956-м в Сталинграде вышла первая книга рассказов «В маленьком городе».

М. Роцин — автор книг «Каких-нибудь двадцать минут...», «С утра до ночи», «24 дня в раю», «Река», «Спешите делать добро», «Рассказы с дороги», «Южная ветка» и известных пьес «Валентин и Валентина», «Муж и жена снимают комнату», «Эшелон», «Спешите делать добро», «Роковая ошибка», «Близнецы», «Старый новый год», «Ремонт».

За литературную деятельность награжден орденом «Знак Почета».

## ВИКИНГ

Я вез Мишку из детского сада — с Красноармейской до Преображенки, через весь город, ехал мимо «Динамо», по Масловке, мимо Марьиной Рощи и Рижского, там по эстакаде, — день был жаркий, час пик, гарь бензина, — я не заметил, как ребенок уснул, — смотрю: затих, — он был пристегнут на переднем сиденье наискось черным ремнем (хоть и против правил, но я всегда его так вожу), пятилетний малыш с детсадовскими синяками под глазами, — наша машина уже была ему домом и успокоением после непрерывного возбуждения и напряжения сада, — мы этого не замечаем, не обращаем внимания, дети и дети, а у этих четырех-пятилетних людей непрерывная и сложная, как у частиц в броуновском движении, с бесконечными притяжениями и отталкиваниями жизнь. Он всегда входит в сад скрепя сердце, преувеличенно бодро, с вызовом и прицелом всегда на одного мальчишку, своего друга и врага Колодкина, высокого, с выпученными глазами, — тот ожидает Мишку со сладострастным оскалом, чтобы тотчас впиться и начать с ним крик, возню и драку, — он постоянно одерживает над ним победу и ждет его, как злодей жертву. Я видел, они начинают весело, смеясь, показывая окружающим невинность своей возни, но уже через минуту выпадают в ненависть, причиняют друг другу боль, кусаются, плачут.

Почему я не схвачу и не унесу своего ребенка уже от одной этой муки отсюда навсегда?

Нелегки тоже отношения с девочками, с воспитательницами; Мишка держится, держится, но бывает, раздражается ужасной истерикой, не идет в сад ни в какую, и тут-то все и выясняется: как он боится и ненавидит Колодкина, любит одну воспитательницу, молодую девушку, и не любит другую, старуху, хочет сидеть за столом с одной девочкой, а над ним смеются и сажают с другой, с которой он как раз не хочет. Словом, жизнь. Думать мне об этом больно, но и изменить я ничего не могу.

Ребенок уснул, я поехал еще медленнее, вызывая раздражение окружающих водителей. Я снял на ходу с запотевшей головы шапочку. Хилая детская фигурка склонилась набок. Так дальше ехать нельзя бы-

ло: или будить или останавливаться. Как раз начались Сокольники и я подумал: заеду в парк, пусть ребенок поспит на свежем воздухе.

Я свернул на дорогу вдоль паркового забора, нашел въезд на аллею, поехал по асфальту, намеренно не заметив «кирич», воспреещающий движение, потом по гравию, и вот уже машину качало по живой неровной земле, и я оказался на краю живописной полянки: заросли ореха, несколько улетающих в небо сосен, кривая пышная береза, а впереди широкий просвет и вид на пруд, горка. Я тут же вспомнил это место: зимой мы приезжали сюда кататься на санках — удивительно, как все было голо, бело, парк просматривался насквозь, а теперь он пышно скрыт зеленью. Мишка панически боялся сесть на санки, лететь с крутизны, я злился, стыдясь окружающих, — что за мальчишка, тоже мне, трус, смотри, как другие дети, — но он убегал, капризничал, трясясь, а я вместо того, чтобы потихоньку увести его отсюда и не насиловать, схватил со злостью, сам плюхнулся на детские санки, улюлюкая и вселяя удал в ребенка, который стонал от ужаса, вцепясь в меня, как жук.

Зимой здесь было красиво, а теперь и подавно. Жаркий день сразу отступил, зеленые тени окружили нас, казалось, от пруда, даже на таком расстоянии, веет прохладой. Ветерок трогал листья.

Я выключил мотор, раскрыл на стороны дверцы, — машина стояла чуть боком, накренилась направо, и спящий ребенок оказался ближе к траве, к земле, ее свежему дуновению. Я чуть сместил назад спинку кресла, снял с сына сандали с затоптанными задниками, — он еще не умел застегивать ремешки, — и белые грязные носки. Никакой реакции. Он спал глубоко, с легкими нервными подрагиваниями лица, с мокрой от пота головой и испариной над губою. Ноги, ступни, ногти были у него точь-в-точь, как у его матери, на удивление. Мать его была далеко от нас. Собственно, у нас ее уже не было. У меня. Ладно, пусть спит.

Я отошел шагов на десять, сел на пенек. Мирный и милый вид открывался передо мною: зеленый пруд, освещенные солнцем стволы берез по ту сторону, на зеленом косягоре. Я хотел закурить и удержался.

Я сам понимал, как, должно быть, симпатична со стороны эта картинка: белая машина среди травы, спящий ребенок, молодой отец поодаль на пенке, охраняющий покой своего сына, покусывающий травинку.

Не знаю отчего, то ли от необычности ситуации, то ли из-за освещения уходящего дня, или от присутствия спящего, — вспомните, несколько странное бывает состояние, когда мы стережем чей-то сон, — но я ощутил, как обострилось мое внимание и восприятие, как я тревожен: точно что-то стучалось или приближалось, несмотря на покой.

Виденье странного корабля, ладьи, древнего, деревянного, с веслами, но с высокой на нем не то трубой, не то башней вдруг примерещилось мне: где я это видел? или читал недавно?

Может, я задремал? Нет. Чувство опасности еще усилилось, но вме-

сте с тем я был спокоен,— точно опасность близилась, но и защита была начеку. Я поглядел в сторону машины,— ничего, все тихо, мальчик спит.

И все-таки. Прошло еще минуты две, и — точно стрела пролетела и вонзилась упреждающе в ствол сосны надо мною,— на поляне оказались,— являсь почти бесшумно из орешника,— две огромные овчарки, темная и светлая. Быстрые, деловые, с висящими из пасть языками, с породисто закрученными хвостами,— я и привстать не успел,— они заученно распределились: одна к машине, другая ко мне,— с плавной побежкой, с привычным, нюхающим тырком и фырком. Сердце у меня чуть опустилось, но за себя мне страшно не было. Только бы не залаяли, подумал я, не испугали Мишку. А мне, видно, лучше всего замереть на месте. Я глядел на орешник, ожидая оттуда хозяина собак, и в самом деле, там уже пробирался через сучья, бросая на ходу команды человек: милицейский околыш, синяя рубашка, форменный галстук. А, вон что.

Собаки, между тем,— одна, что потемнее и постарше, покрупнее, уже легла наглухо между мною и машиной, намеренно на меня не глядя: мол, вас здесь уже как бы и нет,— а другая продолжала обездку вокруг машины, нюхая и моментально обследуя каждый ее сантиметр. В тот миг, когда она ткнулась головой в кабину, обнюхивая ребенка, я сделал внутреннее движение вперед, только внутреннее, и тут же увидел поднятые на меня в полвека глаза первой собаки,— она лишь взглянула, но я понял: не надо. «Она же его напугает», — сообщил ей своею тревогу,— в оправдание, но и с долей законного требования. «Ничего,— отвечал ее вид,— спокойно, у нас служба такая».

На поляну выступил невысокий и плотный, грудь колесом, совсем молодой милиционер с поводком в руке. Он решительно шел ко мне, круглое румяное лицо блестело от пота, живые глаза ходили туда-сюда. Вот-вот он должен был раскрыть рот, чтобы начать свое внушение (я вспомнил «кирпич» при въезде), но я упредил его,— приложил палец к губам. (И успел увидеть: собака следит за рукой, по мере того, как я поднимаю ее).

Вторая, молодая собака подбегала к хозяину — как бы с докладом.

Почти дойдя до меня, милиционер уже мог увидеть ребенка в машине и увидел: глаза его были живы, любопытны, а лицо доброжелательно, но тем не менее он завел хмуро и заученно: — Что ж вы машину в неположенном месте?..

— Тише. Видите, ребенок на ходу заснул и я...

— Но сюда въезд...

— Да, знаю, извините, но просто жалко стало мальчишку.

— Сейчас, сейчас, — сказал милиционер молодой собаке, которая заметно волновалась. Она уже успела подбежать к старой, что-то ей сообщить, и вновь подбежала к хозяину. И я видел, что старая как бы нехотя поднялась и обернулась к машине. Что-то там было.

— Нет, вы отъезжайте, не полагается, — говорил милиционер.

— Ну, товарищ сержант! Проснется мальчишка и я тут же...

— Нельзя, нельзя. Я вообще оштрафовать вас должен.

— Ну, пожалуйста. А то бы поговорили пока.

Он взглянул вопросительно: мол, о чем?

Я кивнул на собак:

— Мать и дочь?

Лучшего хода я не мог придумать, — милиционер расцвел.

— Отец и дочь, — сказал он гордо. — Викинг и Цара.

— Как? — переспросил я.

— Викинг и Цара... Викинг! Сидеть!

Мы оба смотрели на собак, а собаки, услышав свои имена, обернулись на нас. Викинг рядом со своей молодой светлой дочерью казался особенно стар. Костистая, уже усыхающая огромная голова с выпирающими затылочными буграми, костистый тоже хребет под старой обвисшей кожей, усущенные старостью кости. Даже высунутые и ходящие ходунным языки, — у собак, как известно, нет потовых желез и эту роль выполняет язык, — были один розово-молодой, сочный, а другой бурый, пробитый продольной морщиной. И все-таки старая рядом с молодой выглядела и вела себя с таким достоинством, что именно к себе привлекала внимание. Для молодой довольно было и одного взгляда, чтобы оценить ее налитость и прелесть, старая же видом своим говорила все, что хотела, и понять эту мимику не составляло труда.

Команда «Викинг! Сидеть!» не была исполнена: Викинг повернул к нам голову (мне хочется сказать «лицо») и показал, что ему надо к машине. Он остался стоять, а дочь его села, заполошно дыша, часто двигая белой грудью, без всякого выражения сомнения в приказе.

— Сейчас, минутку, — сказал мне милиционер, переводя мне взглядом требование Викинга идти к машине. Я это уже и сам понимал. Легким кивком хозяин разрешил Викингу идти, не садиться, и через мгновение Викинг стоял у машины; сунул нос сразу к переднему колесу, к подножке, лизнул, фыркнул, недовольно покрутил головой. Потом влез прямо к Мишке (разбудит, черт, напугает!) и замер, глядя на ребенка.

— Что-то там есть, — сказал милиционер, и мы оба быстро подошли к машине. Молодая побежала тоже. Викинг вынул голову из кабины и посмотрел на колесо. Чуть наклонясь, мы увидели: все колесо, и крыло, и подножка, утонувшие в траве, густо осыпаны рыжими мечущимися муравьями, — не иначе, я въехал на муравейник. Вот так собаки!..

— Ну? — сказал мне милиционер победоносно. — Видали?

Собаки сидели, делая вид, что они тут ни при чем.

— Ну, молодцы! — сказал я им, поднимая стекло и защелкивая дверь. — Ну, собаки! Спасибо!..

Так мы познакомились с Викингом.

Милиционера-собаководов звали Сергеем, собаки были его страстью. Хотя он работал не в угрозыске, а в обычном районном отделении, его

собак хорошо знали в городе и, случалось, присылали за ними с Петровки. На счету Викинга было сорок два раскрытых преступления, в него даже стреляли, но Викинг прошел через все, как и положено носителю такого имени. С тех пор, как Сергея перевели в Сокольники, даже хулиганы поутихли в парке.

Боюсь, если бы мы посидели еще полчаса, число подвигов и включений Викинга и Цары возросло бы непомерно. Впрочем, Сергей говорил, что его самого больше занимает не расследование преступлений, а кинология (наука о собаках) вообще и желание заразить собаководством как можно больше мальчишек и девочек, — он собирается создать в парке такой кружок или клуб.

Вот! Идея! До чего просто решается проблема. Надо завести Мишке овчарку. Он перестанет бояться всего на свете, успокоится, у него будет верный друг и защитник, что еще надо для парня. Идея, идея. Я вспомнил себя в детстве: как мне хотелось собаку, как я завидовал тем, кто гордо шел по улице со своим псом.

Мы говорили, время шло, собаки отдыхали, вернее, Викинг покойно лежал, величественно, не поворачивая головы ни на мелькание птиц, ни на бабочек, не слушая, я думаю, и нашего разговора, — эти рассказы ему наверняка надоели. Цара же по молодости то садилась, то ныряла в кусты, то выныривала, и то и дело, фыркая, возле машины.

И вот, взглянув на нее в очередной раз, я едва не подпрыгнул: овчарка заглядывала в окно, а оттуда, из-за стекла, вытаращившись в ужасе, глядело безмолвное лицо Мишки.

— Цара! Назад! — закричал я сам, не дожидаясь Сергея, но было, конечно, поздно, ребенок испугался. Он так цепко держал меня потом за шею, ни за что не желая сходить с моих рук, что шея заболела. Он даже не плакал, а только подергивался и икал. Еще бы: проснуться среди леса, машина пустая, да еще собачья огромная морда! И чем больше я говорил всякую чепуху вроде «какие хорошие собачки», «а вот дядя тебе щеночка...» и прочее, и, чем крепче прижимал его к себе, тем больше он мне не верил, — я чувствовал. Опять-таки мы недооцениваем детей: он наверняка испытал страх мысли, что я мог оставить его в лесу одного, что я тоже могу исчезнуть из его жизни. Как мне было перед ним оправдаться?..

— Да что ты, брат, бояка какой! — говорил «дядя-милиционер». — Нет, мы тебя воспитаем. Да, Викинг? Воспитаем?..

Мы все втроем обратились к Викингу, — он продолжал невозмутимо лежать на месте, глядя с мрачноватой усталостью, как старый воин на новобранцев. Но в ответ на вопрос Сергея, ей-богу, прикрыл глаза и чуть качнул головой. Я бы не поверил, если бы ручки сына не впились в этот миг в мою шею еще сильнее.

Наконец мы поехали, Сергей и собаки провожали нас, Мишка оглядывался, тянул тонкую шею, пока опушка не скрылась из глаз, а я бойко рассказывал, как Цара спасла его от муравьев, как Викинг раскрыл сто



сорок преступлений и задержал сто двадцать преступников, как мы возьмем щенка и у нас будет свой Викинг, верный и бесстрашный друг.

— Не надо, — сказал Мишка.

— Почему это не надо? — сказал я. — Надо.

— Он страшный.

— Викинг страшный? Да ты что!

— Страшный, — сказал Мишка.

Мы ехали теперь быстро, машин поубавилось, дом наш уже был далеко. Обычно в этом районе Мишка уже все узнавал, а возле дома подпрыгивал от радости, но сегодня пережитое потрясение не отпускало его, а я вместо того, чтобы оставить ребенка в покое, продолжал настаивать на охватившей меня идее.

— А ты знаешь, кто такие были викинги? Древние воины, самые сильные и храбрые, я тебе расскажу потом...

— Не надо.

Я покосился, — ребенок глядел на меня своими беспомощными глазами, пепел ужаса еще не остыл в их глубине, губенка его начинала подпрыгивать, и слезы были недалеко. «Господи! — подумал я с той же силой. — Что же делать? Какие тут, к черту, викинги!» Но сам нахмурился строго и сказал: «Ну-ну, хватит! Что это глаза на мокром месте!..»

И Мишка удержался, не заплакал.

...Вечер, еще по-летнему светло и закат не остыл, дверь открыта на балкон, и со двора, с улицы летят голоса, звуки музыки, шум транспорта, в «башне», что стоит напротив нашей «башни», загораются окна, — почти все они по-летнему раскрыты, и вся жизнь на виду. Когда Мишка приходит из детского сада домой, разрешается заснуть попозже, сказки порассказывать, с папой полежать: он в своей детской кровати, вымытый, беленький, веселый, с зеленым свежим яблоком, а я принес свою подушку и тоже лежу рядом с ним, — на спине, не помещаясь, ноги мои стоят на полу. С упрямством, которое охватывает родителей в их редкие припадки педагогической страсти, я «провожаю идею» Викинга, викингизма. Ну а что делать? Если нельзя научить храбрости, — либо человек от природы смел, либо нет, — то нужно учить мужеству. Мужеству научить можно.

Я рассказываю сыну про викингов. Про далекую северную страну, где скалы растут из моря, как трава из земли, где белые дюны шуршат от морского ветра, а ветер пахнет вяленой рыбой и мокрым парусом. В этой стране чистых рек и крепких людей жили когда-то отважные воины. У них были деревянные корабли с высокими башнями, откуда воины осыпали врагов камнями и стрелами. В разных землях называли этих людей по-разному: варягами, норманнами или викингами, и победить их не мог никто.

У соседей гремел телевизор, во дворе нетрезвый голос орал «Арлекино», самосвал, самогрохоча, тормозил у светофора, а у нас берсеркер Железная Нога выл, как медведь, бросаясь в битву, кусал свой щит, на-

водя на противника страх, а юный оруженосец Уф прикрывал его со спины, чтобы мечи и секиры воинов Глума Косматого из долины Лошадиного Черепа не обрушились на воина сзади. Сотня кораблей флотилии викинг-ворда (адмирала) Торстейна Рыжего с Песчаных Островов шла непроходимыми проливами, мелями, и воины оказывались там, где их никто не ждал. Вперед, отважные! Высшая честь тому, кто пал в битве с оружием в руках, — душа его тотчас отлетает в Валгаллу вкушать вечное блаженство. И горе и позор человеку, который отступит в бою. Вперед, отважные, и нам покорятся Оркады и Фландрия, король Франции Карл Толстый будет платить нам дань, мы пронесемся на своих судах по Рейну и Маасу, Шельде и Гаронне, и весь материк, который потом назовут Европой, три века будет дрожать перед нами, кланяясь нашим стрелам. Вперед, морские волки, властители брани, властители стали, испытатели секиры и вершители сшибки мечей. Прежний мальчик Уф, высокий и стройный, как тополь, возвращается домой из похода, и зовут его теперь Уф Прекрасноволосый, потому что золотые кудри выются у него по плечам из-под сверкающего шлема.

— Папа, смотри! — прошептал сын.

Я приподнялся. В комнате еще смеркалось, и в дверном проеме, заняв его целиком, явилась из прихожей широкая фигура в блеснувшей на голове низенькой стальной короне. Подуло ветром и запахло морем. Металлически зашуршала кольчуга, заскрипела оплечная кожа, сверкнули камни в перстнях, и тяжелый меч в кожаных ножнах шлепнул по ноге. У воина была собачья голова.

— Никого там нет, спи, всё.

Мы оба видели эту фигуру, безусловно, но что же это могло быть? Игра воображения? До такой степени?.. Я закрыл глаза и снова открыл. Мумифицированный лик силился раскрыть черные веки. И ничего под рукой, кроме огрызка яблока на полу, который я невольно нашарил. Слипшийся в щель рот производил некое движение, тоже силился раскрыться. Собачьи уши торчали поверх короны, зубчики которой древний кузнец выковал в форме пикового туза. Я видел это все так же отчетливо, как раму двери, как фотографию нашей мамы с маленьким, двухлетним Мишкой на руках на стене.

Я покосился на сына. Он глядел во все глаза, он притиснулся ко мне изо всех сил и почти не дышал. Ну и успокоил я мальчика!..

— Закрой глаза, — сказал я ему тихо, — спи, — и сам заслонил его лицо ладонью.

Когда я посмотрел на дверь снова, Викинг исчез.

— Он ушел, — сказал я тихо, — не бойся, спи.

— Посмотри в коридоре, — сказал Мишка.

Я поднялся, выступил, скрепясь, за дверь, — конечно, никого. Я вернулся, наклонился поцеловать Мишку, — он тихо плакал.

— Ты что, — сказал я, — ты что, мальчик?

Он не отвечал, всхлипывая и отворачиваясь к стене. Я понял, слова бесполезны. Я укрыл его лучше, и странно — он, видимо, не в силах больше бороться с явью, впал в скорый сон.

«Что же делать?— думал я.— Что же делать?»— и долго еще сидел на детской кровати. Потом вышел на балкон, и сквозь мои унылые мысли мое разогнавшееся воображение то и дело пронесло видения свирепых лиц и русоголовых полонянок с малыми детьми, гонимых к чужим кораблям по склону холма, где горит позади разграбленное морскими разбойниками поселение.

...Милиционер Сережа оказался человеком неумной энергии. Прощаясь, мы обменялись с ним телефонами: я работал тогда в редакции и обещал помочь ему напечатать информацию насчет клуба юных собаководов. И уже на другой же день, или через день Сергей звонил и тут же и привез статейку,— приехал на милицейском газике. Словом, знакомство продолжилось. Он приезжал иной раз и с собаками и выпускал их из газака побегать по нашему двору. То есть бегала, конечно, Цара, а Викинг или лежал спокойно или прохаживался, стягивая к себе любопытных, ребятню и взрослых с детьми на руках. Все сразу догадывались, что это не простые собачки, и даже наши старухи-собаконенавистницы помакивали и лишь осеяли себя крестным знамением, глядя на сурового Викинга.

И вот однажды на этом самом дворе у нас случился еще один «викинговый» эпизод. Мы вышли с Мишкой погулять — он в своей белой шапочке, с автомобильчиком в руке и коробочками-песочницами,— и вдруг — редкость — увидели, что детские качели пусты. Я потащил Мишку туда. А надо сказать, что качели тоже были нашим больным местом. Малые малыши, девчонки, карапузы лезли в очередь на эти качели, отважно и упоенно раскачивались,— иные лихачи, стоя, мотали себя из-под одного угла в девяносто градусов до другого,— и лишь одни улыбки счастья и визг удовольствия неслись с этих красных железных качелей с деревяшками-сиденьями. Все дети как дети. Но Мишка... он боялся качелей панически. Ну, ни в какую — нет, и все. Бойтся. Бойтся, плачет,— так же, как с теми санками зимой. Не может. Не может, вот в чем все дело. А я х о ч у, чтобы мог, чтобы смел. И волоку его за руку, уговариваю, ну, попробуем, ну, смотри, нет никого, давай.

Кто-то мне объяснял из врачей или просто из опытных людей, что не следует, не нужно насиловать ребенка (бросать в воду, чтобы научить плавать,— не самый лучший способ научить плавать), что нужно подождать, быть терпеливым: подрастет, сам побежит на эти качели. Но ведь всех нас вечно жжет нетерпение, мы хотим сделать по-своему,— скорее, скорее, и нам кажется, если маленький человек умеет говорить, как мы, ходить, бегать, думать, и даже читать и писать, то он и все остальное может, как мы.

Мне удалось подвести Мишку к качелям, мы договорились, что он сядет на них сам, я ему только чуточку помогу, а раскачивать не буду.

И он подошел, и скамеечка деревянная вот она была, перед глазами, и я изловчился, держал руки у его подмышек, чтобы подхватить и усадить. Но в ту минуту, когда он дотронулся до красной железной палки, качели качнулись, поехали, и Мишка тут же в панике отстранился. Уже потом, вспоминая до мелочей этот миг, я сам ощутил, каким, должно быть, опасным может показаться момент качания, зыбким и разрушающим моментально нашу вестибулярную систему, — будто не качели качнулись, а ты сам, земля ушла из-под ног. Но это потом. А в ту минуту, когда Мишка кинулся от качелей, я прямо-таки взбесился: в слепом гневе схватил, стал силой усаживать, давить. Он закричал, заплакал, растопырил ноги, как Иванушка, которого баба-яга упикивает в печь. Тапочка слетела с ноги, с головы шапочка, посыпались пластмассовые формочки-песочницы, — стыдная, дикая сцена. Я с силой дал ему шлепка, — он кричал уже от боли. Я удерживал бешенство, озирался на окна дома: вот небось люди скажут, хорош папаша.

Мишка побежал от меня по асфальтовой дорожке, плача навзрыд, — одна нога в белом носочке. Я на секунду отвлекся. И вдруг из кустов, что росли вдоль дорожки под самой стеной дома, выпрыгнул тяжелым прыжком Викинг. Выпрыгнул и перегородил ребенку дорогу. Пасть настежь, язык висит до земли. У меня душа похолодела, я в этот момент поднимал с земли белую шапочку, а Мишка оказался с псом почти носом к носу. Боже, какой ужас охватит сейчас мальчишку, — он был таким маленьким на этой длинной дороге, рядом с собакой, в одной тапочке, — черт, и мне не успеть, не крикнуть.

И никогда мне не забыть глаз моего сына, когда он обернулся и кинулся назад. Он не искал защиты, он не надеялся на меня, — я и Викинг были одно и хотели от него одного и того же (чего он не мог, но должен был сделать). Он бежал вслепую, не видел моих раскрытых для него рук, — он миновал эти руки и... стал карабкаться на качели. Я врос в землю. Он оглянулся на меня, кивая: мол, видишь, я сажусь, сажусь, и это был рабский, загнанный, панический взгляд.

Викинг сел на том месте, где выпрыгнул, перегородив дорогу, величественную его голову словно осеняла победная стальная корона, я стоял с белой детской шапочкой в руке, радостный милиционер Сережа выходил из-за угла со светлой Царой на поводке. Мишка мостился изо всех сил попкой на деревянную дощечку, никак не мог сесть, судорога дергала его личико, но он старался улыбнуться мне, виновато улыбнуться, — он чувствовал себя виноватым перед нами... собаками.

## ВОРОНКА

Все случилось вдруг. Юнус стоял в ванне, после душа, смотрел, как уходит в дырку вода, завиваясь воронкой, — кто из нас не видит этого каждый день? — смотрел, смотрел, движение шло все быстрее, вода уже

всхлупывала, вихрь крутило, чернота бездны обнажалась, и тут Юнус, словно озарясь молнией, все понял. Казалось, глаза полезли из орбит и живот стал втягиваться от ужаса прозрения: догадка о необыкновенном и невероятном постигла его, открылось нечто беспредельное — мысль, мысль, идея, такая ясная, но дотоле никому неизвестная (неужели никому и никогда?), сверкнула в одну секунду, поразив в самом деле, как молния, и... «настал давно желанный миг, — как сказано у Пушкина, — и тайну страшную природы я светлой мыслию постиг». Неужели постиг? Жутко даже повторить это про себя, проверить, продлить — можно лишь замереть, зажмуриться, зафиксировать. Неужели?..

Юнус еще стоял здесь, голый, толстый и мокрый, в своей ванной, в своей квартире, и лысина его еще самодовольно и розово отвечивала в туманном от пара зеркале, но вместе с тем все прежнее, вся жизнь его, скромного преподавателя Андрея Юнуса, и само это имя, и ванная, и квартира, жена, мама, папа, детство — все на свете, все вместе, скручиваясь в водяную спираль, всасывалось, подобно какому-нибудь коту из мультфильма, черной дыркой трубы, чтобы теперь, ясно же, исчезнуть навсегда. Исчезнуть, освободив существо, бывшее Андреем Юнусом, лишь для одной идеи, одного призвания. Юнус! Юнус! Куда ты, Юнус?..

В самом деле, забылось число, день, месяц, а потом и количество лет, промелькнувших несчитанными, но то утро словно бы не кончалось, и он так и стоял голым в белой ванне, не сводя взгляда с уходящей с хлопом воды, с веселого смерча, навечно приковавшего его к себе.

Он ли это преподавал мирно в Энергетическом (и жена его преподавала), он ли хлопотал и потом получил новенькую квартиру недалеко от института, в Лефортове, и каждое утро спешил на работу пешком, для моциона, с портфелем и в галстук, пахнущий заграничным одеколоном, запахом которого отлетал от его упитанных щек, и улыбался бегущим навстречу московским студенткам?..

Да, все это булькнуло и исчезло в один миг в черной дыре, давным-давно. Он теперь умыться-то забывал, оброс светлой, кудрявой, какой-то младенческой бородой, еще располнел и округлел, как пупс, потому что ел пищу самую простую и дешевую: макароны и картошку. Жена оставила его и забрала сына — вернее, они остались жить в той квартире, — Юнус этого словно бы и не заметил, семья стала ему не нужна.

Словом, нормальный прежде и вполне средний человек Андрей Юнус превратился в маньяка, в одержимого, которого постигла мания великого открытия. В один день, в один миг.

Судьба русского открывателя-самоучки хорошо известна. Даже самый счастливый вариант выглядит так: самоучка живет в провинции, морит голодом жену и детей, ездит, на потеху обывателю, на велосипеде, строит у себя в сарае дирижабли, и только потом оказывается, что это Циолковский.

В наш же век гигантских НИИ, КБ, лабораторий, опытных заводов, когда один ум засекречен хорошо, а два засекречены еще лучше (позволим себе такой каламбур), когда неизвестно кто и когда и где совершил очередное великое открытие (хотя они совершаются пачками каждое десятилетие), — в наш век что делать самоучке? Но он есть, он жив. Он сам летает теперь на самолете в столицу пробивать свое открытие, кормят его жена и дети, общественность всячески поддерживает, хотя изобретает он в своем гараже какой-нибудь велосипед с квадратными колесами. Тем не менее судьбе его все равно не позавидуешь.

Впрочем, теперь мы стали ценить, слава богу, не только самый результат, не только конечный, так сказать, продукт деятельности, но и процесс, увлеченность, расцвет личности, озарившейся вдруг творчеством. Пусть их себе, не жалко. «Лишь бы не пил», — как говорила одна женщина, глядя на своего мужа, играющего на полу в детскую железную дорогу.

Даже если человек забавляется, как дитя, даже если изобретет велосипед, бог с ним, это его велосипед, его догадка и творение, никакой выгоды для себя или вреда для других, как правило, от этого нет, а сам он чаще всего испытывает одни неудобства и неприятности. То есть это только на наш трезвый взгляд неудобства и неприятности, а сам-то он испытывает один вдохновенный восторг, и никакие лавры и суммы вознаграждения не могут с этим сравниться.

Вот и Юнуса, смешного, толстенького человека, питала энергия счастья и веры в свое открытие: он стучал алюминиевой ложкой по алюминиевой миске с макаронами, а лицо и лоб его сияли вдохновенным светом. И если, как утверждают философы, высшая цель человеческой жизни в познании, то этот маленький смешной человек был убежден, что познал, вообрал в себя всю тайну, всю сферу и более того... но не будем забежать вперед.

Любопытно, что к моменту моей с Юнусом случайной встречи я сам, напротив, находился на крайней точке разочарования и сомнений в своей деятельности, во всей своей жизни. Я еще писал и издавал книжицы — о великих людях, между прочим, — еще носился с замыслами, которые почему-то считал необходимым осуществить, но соображение о том, что человечество вполне могло бы обойтись без моих трудов, что жизнь прошла зря, а теперь уж виден и ее исход, — это трезвое соображение уже отравило меня. Зачем я жил и что делать дальше, я не знал. А ведь как был горяч, как самоуверен, как строг к другим. Теперь же терял веру в свое дело — что может быть трагичнее для фанатика?..

Приволок меня к Юнусу один приятель-журналист — Ваня Стеклов: «Слушай, старичок, не откажись, пожалуйста, провести одну невинную процедуру, оздоровительную, между прочим, и выложить за нее пятерку. Надо помочь одному чудиле». Было лето, середина дня, мы без особого дела болтали и курили в редакции, смуглого и шустрого Ваню с цыганской чернотой кудрей и глаз так и тянуло куда-нибудь на волю,

он был на своей машине и обещал, что вся процедура изымания из меня пятерки не займет и часа. «Не пожалеешь,— обещал Ваня,— таких типов мало осталось». Я сомневался, типы эти давно стали литературным штампом, но сказал «ладно», и мы поехали. Где-то за Курским, на задворках вокзальных запасных путей, сквозь железнодорожный бурьян и ржавое набросанное железо ввиду пыльных зеленых составов пробрались к неожиданной здесь новенькой «башне» этажей в восемь,— на вывеске значилось нечто вроде «НИИ-ЖЕЛ-ДОР-БЫТ-ПРО-ЕКТ»,— и нырнули с заднего хода в подвал. На бетонном полу поблескивали лужицы, на одинаковых дверях зеленели таблички с названиями отделов — наш отдел, или лаборатория, занимался чем-то вроде исследования зря выходящего пара из вагонных кипятильников. Я посмеивался, филантроп Ваня держался твердо и ввел меня наконец к нашему Ньютону.

С жару и солнца мы вошли в полумрак и прохладу, в просторном полуподвале с низким потолком оказалось на удивление чисто, прибрано, бросалась в глаза белая спираль в углу величиной с железную бочку, почти в человеческий рост, а под подвальным окном тянулся вдоль стены рабочий стол, верстак с тисками и инструментами, розетками, мойкой с четырьмя над нею кранами, и от двух кранов шли насаженные на них белые шланги — к той штуке, что в углу.

Я не успел оглядеться, а к нам уже выкатился кругленький бородач с сияющими, как яблочки, щеками, с розовой лысиной, со счастливым выражением глуповатого, как мне показалось, или, точнее, блаженного лица. Я ожидал увидеть мрачного дистрофика, обозленного на весь белый свет и погибающего без моих пяти рублей, а нас суетливо-восторженно принимал счастливчик, так и лоснящийся довольством.

Меня счастливцы уже с давних пор раздражали.

Мы познакомились, мы выпили холодной воды, надо было для приличия перемолвиться, присесть хоть на минуту: за что пятерку-то давать? Я посмотрел на часы и отмерил полчаса вперед — этого нам должно было хватить: мне как-то с первого взгляда все стало понятно.

Но одержимый есть одержимый, и пророк есть пророк. Ему только дай слушателей. Уже через две минуты перед нами, неизвестными людьми, он готов был выложить в с е, все свои тайны. Какие страсти бушевали в этой обросшей жирком, почти женски свисающей груди, прикрытой выношенной и потной розовой рубашкой со старомодными, огромной величины концами воротничков, какие бури бушевали под этой лысиной с золотистыми кудрями вокруг, какой радостью горели голубые яркие глазки. Стеклов посмеивался, наблюдая за мной: мол, я это уже слышал, а вот как ты? Я же слушал плохо, потому что рвался тут же возражать, высмеивать, оппонировать. Но Юнуса тоже невозможно было сбить или поколебать, от него тоже все отскакивало.

Как бы то ни было, но скоро некрашенный бетонный потолок исчез,

жаркий день смерк, темный небосвод накренился над нами, и мы унеслись в пространства, доступные лишь воображению.

Мой рассказ не для ученых умов, и если мои объяснения попадутся на глаза специалисту, пусть он будет снисходителен. Тем более что я пересказываю, как умею, чужие идеи.

Что же открыл румяный Юнус, что понял?

Он начал, как мы уже знаем, с водяной воронки.

Отчего, между прочим, вода, вытекающая из любой емкости вниз, всегда завивается в одну сторону? (В одну сторону в одном полушарии и в другую в другом?) Это азбука: крутится Земля, вращаются планеты, звезды и галактики, движется, «разбегается» Вселенная. Нет материи без движения, нет движения без материи. Вселенная живет, вращается, и даже в планетарии детям, моделируя Вселенную, показывают эдакий гигантский кулек звезд, в орону звездного вещества.

Итак, размахивал толстыми ручками, обросшими золотым волосом, Юнус, знак Вселенной — волчок, треугольник; Вселенная, завихряясь в воронку, на пике конуса должна достигать таких плотностей и скоростей, что в с я сжимается в точку. А затем — неизбежный взрыв, выброс вещества, разлет. Как полагает современная наука, так случилось двадцать миллионов лет назад, и с тех пор Вселенная и разлетается цветным веером, и будет разлетаться до тех, видимо, пор, пока стремление природы к энтропии не погасит скорости, не приведет к некоему парению, а затем к новому притягиванию частиц друг к другу, их скоплению, уплотнению, новому увеличению массы, медленному ее движению, ускорению, свиву в спираль и... все сначала.

Таким образом, выходит, что воронка вроде не одна, а две, как в песочных часах, и, как в песочных часах, материя так и переливается туда-сюда, почему никуда и не исчезает. А может, и не две воронки, а три, четыре, сто... И если не исчезает материя, то не должно исчезать ничего. Ничего, ничто и никогда.

Я перебивал, я спорил, я говорил, что воронка есть форма, а то, что вечно и бесконечно (если оно так), не может иметь формы. Я еще произносил какие-то скептические умности и шутки — Стеглов дарил мне двадцать копеек за наиболее удачные, — но Юнус не слушал, шутки не понимал, махал на нас толстыми нематыми ладошками и шумел, что это в конце концов его не интересует, это только предисловие, берег, от которого он оттолкнулся.

До тех пор, пока Юнус не сказал «ничто и никогда», мне было неинтересно — картина мира в виде воронки отдавала чем-то уже известным, банальным, — но на этом месте тревога или предчувствие дальнейшего затронули меня, я захотел вслушаться.

Оказывается, картина макромира требовалась Юнусу лишь для того, чтобы связать ее с микромиром, буквально с живой жизнью Земли, жизнью биологической. Мол, как мы-то попали в воронку, кто мы-то,



зачем? И опять же, если вечно и бесконечно одно, отчего смертно и конечно другое?..

Начавши с водной воронки, Юнус и обратился в конце концов к воде, основе жизни. Вода, как известно, одно из самых сложных, изучаемых и далеко не познанных веществ на свете. Третья формула воды — Н/О/Н. Тоже похоже, как видите, на воронку. И одна молекула соответствует (по Юнусу) одному герцу. Это, мол, ритм Вселенной. И в этом же ритме бьется человеческое сердце. (Нобелевская премия ожидает того, кто объяснит, отчего бьется сердце!) А оно бьется, утверждал, расширяя мелкие свои, сияющей голубизны глазки, Юнус, именно в ритме Вселенной и в ритме воды, если вам угодно принять такую формулировку.

Тут я опять перебивал, язвил: как вы так запросто связываете тайны воды с тайнами мироздания, звездообращения — с кровообращением? А не пробовали увязать бузину в огороде с киевским дядькой?..

Я язвил, Стеклов похохатывал, все нетерпеливее крутя ключами, а Юнус все больше волновался, убежал в закуток, огороженный в углу фибролитом, как раз возле белой спиральной бочки, — там видны были полка книг и край застеленной низкой раскладушки, — и вернулся с тетрадью, из которой стал сыпать цитатами.

Я тем временем уже прохаживался вдоль верстака, разглядывая горю разоблачительных нелепых детских железок: плоские консервные банки, исковерканные вазочки из-под мороженого, спаянные по трое, электроплитку, залитую желтой пластмассой, которую растапливали в сковороде, как яичницу. Бросалось в глаза обилие треугольников: из дерева, железа, керамики. Я взял один, похоже, отлитый из столярного клея, только без запаха. В середине зияла круглая дырка. Такие же треугольники унизывали белую трубу спирали в углу. К чему ж он вел, наш бедный кустарь, что строил из баночек из-под мороженого? Не иначе как антигравитатор, чтоб без ракет преодолевать земное притяжение. И спираль в углу наверняка в один прекрасный день должна была, если влезть в нее, поднять изобретателя ввысь.

Пока Юнус читал свои цитаты насчет пространства и времени, я наткнулся еще на обыкновенный рукосушитель, уж точно оторванный в каком-нибудь вокзальном туалете, и не мог не рассмеяться: ну уж это-то зачем?..

Юнус тут же отбросил тетрадь, подбежал, включил рукосушитель и с его помощью вмиг устроил бурю в стакане воды, буквально, — только вместо стакана взята была литровая банка. В минуту вода свисала в воронку, внутри мелькал маленький красный шарик вроде поплавка, и мы, трое мужчин, стояли, как дураки, и смотрели. Я хотел что-то сказать, Юнус поднял дрожащий толстенький палец, остановил: мол, тихо!

Центростремительная сила увлекла шарик на дно, он должен был бы вылететь оттуда вверх, но замер и... стал медленно подниматься по центру, в пустоте вихря, словно его вытягивали на веревочке. Это был какой-то

маленький фокус — он подтверждал, кстати, мои догадки насчет антигравитатора.

— Антигравитатор? — сказал я прозорливо, кивая на шарик.

— Это — мы, — сказал Юнус, протянув свой грязный, заскорузлый от металлических работ палец к шарiku. — Мы — разумные существа.

Шарик стоял в воздухе среди вихря воды вопреки всем законам. Юнус счастливо глядел на него. Рукосушитель (я вообще ненавижу эти приборы, такие же гадкие, на мой взгляд, как и само слово «рукосушитель» — это вместо «полотенца»-то!) натужно выл, не выключаясь, как это обычно с ними бывает, когда ваши руки уже обсохли. Я несколько растерялся. Я «вынул» себя на секунду из ситуации, из происходящего, взглянул со стороны и устыдился: где я? что я тут делаю? рядом с этим сумасшедшим? Зачем у меня такой тон, такой апломб? Точно я, взрослый человек, пришел в детский сад и всерьез убеждаю детей, что их игрушки ненастоящие, город — из песка, а паровоз — простая деревяшка.

— Это — Вселенная, — повторил Юнус со счастливым выражением, имея в виду под Вселенной банку. — А это мы, это разум...

Надо было понимать, что разум возник из вихрей материи как центральная и растущая субстанция. Ну-ну. Я кивнул. Но со Стекловым мы перемигнулись. Я хотел еще раз связать, что не затем родился разум, чтобы поверить в такое свое происхождение или местоположение.

Не знаю, что именно на меня подействовало, звук ли рукосушителя, фокус с шариком, счастье Юнуса, блаженно глядящего на вихрь в банке, или приближение к м ы с л и, которая стала брезжить из всего увиденного и услышанного, но мне вдруг стало грустно, я снова подумал о себе, таком уверенном и respectable на вид, таком умном и ироничном, но с таким смятием и ядом в душе. Юнус волновался, а я нет. Лысина его увлажнилась мелким потом, щеки горели, светлые кудри бороды повлажнили, он что-то знал. Он знал и верил, а я нет. Он не сомневался, а я только этим и был занят.

— Мы не должны исчезать, — сказал Юнус, поглядев по очереди на меня и на Ваню, — мы тоже вечны и бесконечны...

Вот что! Вот к чему все шло. Ну, спасибо!

Юнус с проповедническим жаром стал доказывать, что цель разума — победить смерть, что смерти, собственно, и нет, что тайна перехода живого в неживое и обратно просто еще нам неизвестна, что в капле воды могут быть закодированы и затем регенерированы миллионы жизней и так далее, и так далее, и так далее.

Я демонстративно посмотрел на часы, и Ваня тоже.

Я все это знал и без Юнуса, я все понял, мне это было неинтересно. Я никогда не мог поверить древним китайским и индийским учениям о переселении душ (о, бхаванакура — колесо бытия, бесконечность рождений!); я бы никогда не смог вызывать духов, я, слава богу, был материалистом до мозга костей («слава Богу!»). И хотя я всегда писал о великих людях, о бессмертных, но их бессмертие было обеспе-

чено не мистикой, но делом, вкладом и памятью о них благодарных потомков. И хотя сами великие люди в своей борьбе с забвением и смертью часто впадали в мистицизм, но меня никто ни в чем никогда не убедил. Мне, может быть, и худо было от моего атеизма, но увлечь меня эсхатологическими или иными подобными идеями было невозможно. Юнус не открыл мне Америки, его воронка не более чем воронка мыльной воды, утекающей из ванны. Скучно, господа!..

Юнус выключил отвратительную машинку (не хочу даже еще раз произносить ее название), воронка тут же исчезла, вода опала и выровнялась, и красный шарик нормально заколыхался на ее поверхности. Юнус взглянул с сожалением — должно быть, он готов был крутить эту штуку до утра — и продолжал говорить. На этот раз цитировалось что-то из Канта, из «Трансцендентальной аналитики» или из «Трансцендентальной диалектики» — о боже, спаси нас и помилуй! — мы со Стекловым уже только кривились, и я делал ему большие глаза: мол, спасибо тебе, Ваня. Из всего Канта у меня в голове застрял лишь тезис о том, что всякая сложная субстанция состоит из простых частей, и антитезис, что ни одна сложная вещь не состоит из простых частей, — о чем я тут же и поспешил сообщить присутствующим.

Юнус посмотрел на меня с вежливым недоумением, а Стеклов, уже описывая своими ключами в воздухе видимый круг, сказал:

— Ну, вы, старички, совсем в философию ударились, а дела еще не сделали. Юнус! Давай! А то мы спешим.

— Да-да-да. — Юнус тут же погас, засуетился, как прежде, отер лоб сгибом локтя, оставив на рубашке влажный след, и поспешил в угол, к белой своей спирали. Ваня кивал мне идти туда же. И подгонял вертящимися ключами. Я потрогал в заднем кармане брюк плоский бумажник, где ожидала Юнуса его пятерка. Ваня мигнул мне: потом, не сразу.

Юнус уже проверял белые шланги, протянутые от кранов к двум концам спирали, и поправлял стоящую внутри табуретку. Нетрудно было догадаться, что мне предстоит туда влезть и там сидеть. Не проще ли так отдать деньги и уйти?

— Это пока только модель, — суетился и объяснял Юнус, — я построю со временем настоящую гидраль...

— Это называется гидраль? — я потрогал уже знакомый мне треугольничек, насаженный круглым отверстием на трубу.

— Пять минут в этой штуке, — опередил Юнуса Стеклов, опять подмигивая мне, — и твой биоритм уравнивается с ритмом Вселенной. Так, Юнус? Наступает полный кайф, вечная гармония.

— Это из столярного клея, что ли? — я щелкнул пальцем по треугольничку и чуть сдвинул его.

— Нет, это жидкие кристаллы. — Юнус тут же поправил треугольничек. — Они заряжены... да, ритмом... но вы... вот сюда, вы сможете чуть нагнуться!.. — Юнус приглашал меня в самом деле влезть внутрь

спирали, которая имела довольно широкие просветы,— всего в ней было витков пять на человеческий рост.

Я согнулся и полез, продолжая спрашивать:

— А в трубке?..

— Кристаллы заряжают воду.— Юнус помогал мне усесться.

— Магнитная, что ли, вода?— Я чувствовал себя полным дураком внутри этой штуки, на табурете, выкрашенном почему-то суриком. Я опасался за свои светлые брюки. Я подтрунивал, я посмеивался над собой — что еще остается умнику в дурацкой ситуации?..

— Нет, нет, это не магнитная, это совсем другое.— Юнус, кажется, уже вновь вдохновился, «завелся» возле своей гидрали. Но вот он почти просунул голову ко мне, приблизил влажное лицо к моему и — и это опять было лицо умного и что-то знающего человека, победителя — спросил вдруг: — Какое ваше самое главное желание?

— Кружка холодного пива,— сказал я, хотя понимал, что э т о м у у м н о м у Юнусу так отвечать не стоит.

— Бочкового! — простонал Ваня.

Юнус даже бровью не повел — эти самоучки, я заметил, вообще бывают начисто лишены чувства юмора, и продолжал глядеть на меня.

— Хотели бы вы вернуться? Остаться?— Он выждал, пока я разыграл недоумение. — Когда-нибудь? После смерти? Вернуться?..

Я видел его губы, глаза, усы, усмехался.

— Ну?

Но тут что-то случилось. Я кивнул. И стал краснеть.

Юнус убрал от меня свою голову и пошел к кранам, пускать воду. Черт! Стыд. Глупость. Я заволновался. Больше — я смешался. «Вернуться», «остаться». «Мое главное желание». Что это значит? Я п о н и м а л, что это значит, но делал вид, что не понимаю. Ну, ответь, ответь, отвечай!.. Себе - т о ответь! Разве не главное твое желание — вот он, наводящий вопрос, заданный тебе, — о с т а т ь с я , в е р н у т ь с я ? Хотя как-то, хоть когда-то, хоть может быть... Черт, я не собираюсь помирять, между прочим, не рановато ли спрашиваете?.. Куда ты пошел, толстяк? Что ты собираешься делать?.. Неужели э т о и есть мое подсознательное главное желание, самая тайная мечта?.. Ужас забвения — самый великий ужас, потому что забвение обесмысливает все, что было, что есть... Почему он спросил? Откуда эти странные вопросы?..

— Я хочу соединить вас с космосом,— сказал Юнус издалика,— я запишу ваш код, он понадобится, чтобы вернуть вас обратно.

Стеклов подмигивал мне черным бесовским глазом. Мне следовало сострить, как-то разрядиться, у с п о к о и т ь с я , но я молчал, я попался, поддался, я захотел, чтобы желание мое исполнилось... Бедные мы, бедные! В детстве мы вырезаем свое имя на парте, фараоны строят себе гробницы, Александр Македонский завоевывает мир, и Герострат сжигает храм, чтобы его не забыли. Он соединяет меня с космосом, он хочет привести меня в гармонию с миром. Пусть он приведет меня в гармо-

нию со мной самим. Какая мелкая тщета — сидеть в этой спиральной бочке, надеясь (надеясь!), что авось что-то и выйдет.

— Дотроньтесь, пожалуйста, до треугольничка, который прямо перед вами! — командовал Юнус уже от самой мойки, и мне сразу представились спаянные вазочки из-под мороженого, словно три женские груди, соединенные столь странным образом.

Я послушно протянул палец и коснулся вершины треугольничка, которая глядела вниз. Она оказалась острой, как игла, которой колят палец, когда берут кровь, — я инстинктивно отдернул руку, и на кончике пальца действительно выступила капелька крови.

— Этим же пальцем сверху! — скомандовал Юнус, а я покорился: я понял, он хочет, чтобы я каплей м о е й крови коснулся треугольничка.

Между тем Юнус пустил воду, и она уже журчала, бежала внутри спирали по белой трубке, и что все это значило, никто не ведал. Фауст души у продал дьяволу за то, чтобы вернуться, а мы решили обойтись пятеркой. Ох, вряд ли выйдет!

Вода журчала, я сидел как идиот на красной табуретке, Ваня вертел ключами (а ведь и он, змей, сидел здесь за пятерку), а Юнус держал руку на вентиле и скоро завернул его.

Господи, как мне было стыдно. Вылезать, усмехаться, опять острить над собой. Я больше не мог поглядеть Юнусу в лицо, в глаза — что-то случилось, он меня куп и л, поймал, как теперь справиться с собой?

Я озирался на спираль, на треугольник, который один среди всех глядел острием вниз, перевернуто, — на нем запеклась капля моей крови, — фу, как это все глупо. Глупо, глупо, глупо. И, может, просто от глупости я так взволнован, потен, красен, ушиблен? О б н а д е ж е н.

Среди смеха, мотания по помещению, рассматривания шлангов и прочего — тут еще сторож в старом железнодорожном кителе заглянул в дверь и покачал головой: пора, мол, — я кое-как вынул и сунул на верстак д е с я т к у. И мы ушли. Мы ушли, ушли, наконец.

Иван оставил машину возле редакции, и мы отправились выпить пива в маленькую пивнушку у Чистых прудов, где остановка трамвая. Вышли с кружками на улицу и стояли, пили, глядя на людей, машины, бульвар, отходя от всей этой в о р о н к и, в которой только что побывали. И чем больше глаза мои вбирали в себя привычный мир, зелень и пыль, звон и голоса, рябь воды, балконы, выставленный из окна машины голый локоть водителя и его черные очки, капустную палатку, номерные знаки на боках красных трамваев, женские ноги, женские лица, мужчин, дующих на пивную пену, которая мокрыми кожными падает на асфальт, влажно пятная его, — чем больше глядел я вокруг, жадно отмечая каждую мелочь, тем больше мысль не о себе одном, но обо в с е м и обо в с е х охватывала меня. Ничего не стоило пронзить воображением в р е м я, весь насквозь колодец прошлого, и увидеть заодно в с е, что было когда-то на этом самом месте, на Покровке: других людей, давно исчезнувших, и все, что сопутствовало им: лошадей, деревянные

мостовые, лавки и дома не выше двух этажей, церкви и палисадники, босоногих мальчишек в рубахах, без порток, красных девиц в сарафанах с гнутым коромыслом на плече, бородатых молодцов, которые так же, как мы, пили, быть может, на этом углу — не пиво, так сбитень или медовуху. И так же вытряхивали кружку, тем же жестом, от последних капель и пены. А им как? Тоже?.. Вернуться? Как я вернул их сейчас?

Ах, Юнус, он все-таки заразил меня.

Потом я проснулся среди ночи. На часах было два пятнадцать. Сон, разбудивший меня, отлетал, я изо всех сил хотел его восстановить — нет, не получилось. Вместо сна явился Юнус, — не суетливый толстяк, а тот, умный и таинственный, как доктор, пользующий тебя. И я сам сидел внутри спирали, как большая обезьяна в тесной клетке, и горел румянцем стыда... Юнус стоял над своей мойкой и глядел, как из нее уходит, свиваясь вихрем, красного цвета жижа. На мою десятку он покупал себе пять пачек макарон и еще два диода и моток проволоки в магазине «Радиолюбитель». Его самодельный компьютер, спрятанный под раскладушкой, делал анализ моей крови, записывал ее формулу и передавал на спутник, несущийся в этот миг над Индийским океаном. Спутник же с помощью лазера передавал запись дальше, печатая ее на ледяных астероидах, на черных железистых камнях, на белых скоплениях кристаллов в щелях мертвых планет, на каждой капле воды, которая только есть в космосе.

Мне пришлось встать и уйти на балкон покурить.

А ночь, конечно, стояла летняя, тихая, темная, окна в домах не горели, и небеса были набиты своим несусветным множеством звезд. Ах, чертов Юнус! Они гудели и пели, эти светящиеся небеса, они вращались, будто мельничные колеса, они жили. Они притягивали и втягивали меня в себя, и я отчетливо сознавал себя их частицей. Больше того, я двигался в центре их, в центре воронки, подобно красному поплавку в банке Юнуса, и медленно поднимался вверх. Проклятый Юнус! Он захватил меня э т о й идеей, мой разум д о п у с к а л такую возможность и даже уже и с к а л такую возможность: занять место в центре воронки и подниматься вверх.

## КАНИСТРА

У него вечно что-то плескалось сзади в багажнике. Когда его спрашивали, что это, мол, у тебя там плещется, он отвечал весело:

— Море. У меня там море в канистре.

Люди улыбались, шутка нравилась, особенно зимой. Услышишь такое, и на секунду мелькнет в памяти: жаркий берег, синева, удар прибоя.

Бруно был человек в своем роде замечательный, сама доброта. Мать его, цыганка, дала ему веселый и вольный нрав, отец, русский,— широту и бескорыстие, а назван он был в честь Джордано Бруно, ни много ни мало,— так захотел отец, написавший о Джордано Бруно книгу и посвятивший изучению его всю свою жизнь. Каких только причудливых сочетаний не бывает на свете — и хвала природе, если они имеют знак плюса, а не минуса.

Бруно был смуглый, высокий, с красивыми темными глазами, и, конечно, все принимали его за итальянца. И, конечно, родители позаботились выучить его итальянскому языку, музыке, мечтали сделать из него дипломата. Но Бруно нашел свой путь: он начал писать о музыке, стал музыкальным критиком, погрузился в театр, телевидение, кино. Писал умно и тонко, всегда доброжелательно, и за ним охотились: «Бруно, напиши». «Пусть Бруно напишет». Чем известнее он становился, тем больше женщин его любило и тем больше друзей окружало. И он отвечал им со всей щедростью своей души. Он входил в дела друзей и друзей друзей, утешал чужих жен, устраивал дела чужих детей. Надо послушать новую мелодию — Бруно, посмотреть репетицию — Бруно, пообедать с иностранцами — Бруно, помирить любовников — Бруно, проводить уезжающих — Бруно. Его профессия позволяла ему нигде не služить, легко передвигаться, ехать куда захочется — люди этим пользовались, зная, что Бруно не откажет, не пожалуется потом, что его замучили, придет всегда с улыбкой и обязательно выйдет из машины, чтобы отворить перед вами дверцу.

Гастроли, конкурсы, фестивали, заграничные поездки — все это понемногу отходило как бы на второй план, настолько Бруно погружался в личные и бытовые дела своих ближайших и новоиспеченных друзей. Что подделашь: он умел и мог быть полезен — разве это мало? И разве это не дает удовлетворения?..

Но, разумеется, на себя не оставалось ни сил, ни времени. Он все меньше выступал как критик и все больше как миротворец и «духовник». Один талант — любовь к искусству — как бы подменялся другим — истовым человеколюбием.

Иногда лето пролетало, а кроме двух-трех пикников с шашлыками у кого-нибудь из друзей на даче и вспомнить было нечего. И Бруно с чувством вины глядел на свою машину. «Волгу»-фургон, которую купали давным-давно именно с целью путешествовать, ездить на ней в Прибалтику и на юг — еще отец был жив и здоров — и на которой ни разу не съездили даже по грибы, в подмосковный лес.

Правда, при его образе жизни машина частенько служила ему и кабинетом, и спальней, и чего только не валялось в ее просторном багажнике, начиная с пишущей машинки и кончая женскими туфлями. Там среди прочих вещей покоилась, кстати, и канистра, о которой пойдет у нас речь.

Между прочим, канистра тоже, по сути, была не нужна при таком образе жизни — в городе всюду бензоколонки, и Бруно не помнил, чтобы хоть раз пользовался ею за последние два года. Одно время, когда машина находилась в ремонте, канистра даже оказалась на балконе и еще месяца три простояла там забытая, хотя хозяин уже давно мотался, как обычно, по городу из конца в конец.

Канистра была самая обыкновенная, железная, зеленого цвета, и один бок ее стал ржаветь. Как-то, роясь в багажнике, Бруно поднял канистру, увидел, что этот бок, на котором она лежит, поружжел от ржавчины, подумал: хоть бы открыть канистру и понюхать, что там, — но, как всегда, спешил, и канистра опять надолго легла на свое место.

Однако что-то застряло в уме с того раза по поводу канистры: некое опасение, моментально распределившееся в перспективе. Ожидание опасности? Пожалуй. А вдруг проржавеет совсем, потечет однажды, лопнет в самый неподходящий момент, например, во время аварии? Не успеют тебя, потерявшего сознание, вытащить, как все полыхнет да ахнет. Мало ли что. Ведь странно в самом деле два года возить с собой канистру и чтобы ничего из этого в конце концов не вышло.

Человек тонкой организации, Бруно, всякий раз садясь в машину, стал теперь вспоминать о канистре, мысленно посылать ей привет. У него появились о т н о ш е н и я с канистрой, как это бывает с вещами, которые подолгу незаметно, но постоянно сопровождают нас в жизни: ключи, часы, кольцо, любимый ремень.

Поскольку канистра перешла именно в такой разряд (или была переведена насильно, из лести), то и отношения с ней понемногу установились добрые, хотя в душе-то, по-честному, трудно было испытывать симпатию к железной коробке, начиненной как-никак горючей смесью. Шутка насчет моря смягчала атмосферу, но это на людях, когда же Бруно, находясь в машине один, трогал ее с места и слышал сзади знакомый всплеск, уже почти ритуальный, он с большой натяжкой посылал канистре мысленный привет насчет моря.

Но время шло, привычка брала свое, человек, как известно, ко всему привыкает. Время шло, и всплеск бензина, продукта жирного, плотного, мягко льющегося, на самом деле все более походил на легкий и отрывистый всплеск воды. «У меня там море, в канистре», — весело говорил Бруно, и все верили.

Долго ли, коротко ли, но в конце концов он настал. День Канистры. Когда-то же должно это было случиться. Стоял прекрасный месяц июнь, лето набирало силу. Бруно каждый день говорил себе, что завтра же отправится за город, купаться, в Серебряный бор хотя бы, на дачу, но в городе то гремел конкурс Чайковского, то начинался французский кинофестиваль, то надо было навещать мать одной знакомой в больнице, а другую знакомую — у нее дома, то встречать приятелей из Ленинграда, то выяснять среди ночи отношения с любимой женщиной — она требо-



вала одного: внимания — и ревновала к одному: к вниманию, которое он уделял другим.

Дело было тридцатого июня, рано утром — за окном начинался солнечный, обещавший быть жарким день. Бруно проснулся в доме своей подруги, на ее низкой тахте, проснулся от птичьего крика за окном, задернутым просвечивающей шторой. Телефон был выключен, но Бруно знал, что он звонит. Осторожно подняв рукой весь аппарат вместе с трубкой — вот так бы и выбросить его в окно, — Бруно осторожно выскользнул из-под простыни и отправился в ванную, волоча за собой длинный шнур. Чутье его не обмануло: в трубку изо всех сил кричала Наташа, жена Размика Геликяна, замечательного композитора и друга Бруно, она звонила из Рузы:

— Ляля, Ляля, Бруно у тебя?..

— Это я, — полузадушенно отвечал Бруно, не смея повысить голос. — Я, я. Что случилось?..

— Ему плохо, Бруно! Я боюсь, ему плохо! Он зовет тебя! Больше никого не хочет видеть! Бруно!..

Размик Геликян был молодой, уже очень известный композитор, автор многих песен и двух рок-опер, созданных по совету же Бруно. Они были большими друзьями. Но на Размика «находило»: в припадке сомнений и отвращения к своим собственным песням он сходил с ума, жег ноты на костре, смертельно ссорился с поэтами — авторами текстов, запивал и пропадал, выныривая через неделю, а то и больше в самых неожиданных местах: в Махачкале, в Мурманске, в Малаховке. А то и в больнице.

— Что случилось? — сипел Бруно в трубку.

Наташа кричала одно: ему плохо, скорее — и рыдала. Бруно пытался уловить: как она сама? Кажется, надо ехать.

Но как ехать? После того, что было ночью? После всех обещаний, что он больше не будет «дураком, над которым все смеются»?.. Но, может, она не услышит? Может, он смотается туда да обратно за два-три часа? Ведь еще рано. Она наверняка проспит до десяти.

Пустим подробности. Как Бруно решил, как спешил, как, уже садясь в машину, поднял вверх глаза и увидел, что он а стоит, завернувшись в простыню, на балконе, на десятом этаже, в очках, потому что у нее — минус четыре... Бруно мчался по Минскому шоссе в Рузу, в поселок композиторов, и вдруг впервые за столь долгое время вспомнил, что еще с вечера хотел заправить машину: датчик бензина подрагивал у нуля. Это было даже интересно: впереди сто километров да сто километров обратно.

У мотеля, куда Бруно свернул прежде всего, стоял длинный хвост, даже нечего думать здесь задерживаться. Он махнул рукой: «Волгу» трудно заправить где угодно. «А потом, у меня есть канистра!» — сказал он и послал мысленно канистре привет через плечо. Когда-нибудь надо же ее открыть. И у него появилось предчувствие: это случится сегодня.

Он повеселел, прибавил газу, включил музыку, легко обошел пять-шесть «Жигулей», по-субботнему набитых женщинами и ребятишками, и сказал себе: отдыхай!.. Он на какое-то время забыл даже о той, которая осталась на балконе, и о Размике, к которому он спешил. Эйфория скорости, дороги, свободы радостно возбуждала его и умилял вид свежего леса, колеблемого ветром, зеленых полей, кучевых облаков на горизонте, простора вокруг. Ведь он так давно этого не видел, не дышал свежим воздухом. Жаль было лишь бабочек и мотыльков, которых расквашивало о себя ветровое стекло.

В Голицыне он даже не затормозил у бензозаправки (там снова змеилась очередь), беспечно пронесся мимо. Теперь он уже почти твердо знал, что коснется канистры. И ему все больше нравилось мчаться одному, слушать Вивальди. Как ни быстро он ехал, а вывалились в окно то щебет птиц, то кукареканье петуха в далеко отстоящей от магистрали деревеньке. И так хотелось свернуть, соскочить с конвейера шоссе, оказаться на глухом проселке, выйти, упасть в траву и глядеть на облака, заложив за голову руки. Море плескалось в канистре, и хотелось отдыха и блаженства.

А собственно, почему не остановиться на миг? Ты никогда не вспомнишь, как мчался по дороге — ты делал это тысячу раз, — а обновку запомнишь, шаг в сторону запомнишь, как лежишь в траве, глядя в небо, — запомнишь. И неправда, что это хорошо лишь в юности, это хорошо всегда. Только надо уметь найти эту минуту, остановиться.

Один проселок ушел направо, другой. — Бруно проскочил их, не беда, значит, это еще не то место, которое ему уготовано, не та единственная полянка, которая ждет его, которую он, право же, заслужил за целые годы отдачи себя другим, забвения себя, своей работы, итальянского, который он почти забыл, книги, которую так и не написал. А какая должна была быть книга! Маленькая, краткая, точная, содержащая всего-навсего несколько с в о и х мыслей: о Шекспире, о Рафаэле, о Бетховене, о Прокофьеве. Где это все?..

Мелькнул черный значок на обочине — пересечение с проселочной дорогой, и Бруно стал тормозить — сюда!.. Обочина стояла довольно высоко над землей, криво по склону уходили вниз березки, среди них параболой втекала в лес песчаная дорога — в низкий подлесок, светло-зеленый от солнечного света.

Бруно заколдованно стал съезжать по дороге, будто сказочный клубок катился перед ним, и минуты через три остановил свой тяжелый и горячий, как танк, синий фургон в месте, зеленом, словно аквариум. Он выключил мотор, открыл дверцу и замер, пораженный тишиной, полной птичьего перещелка и стрекота, свежестью и близостью этих стволов, трав — они полезли с любопытством в машину через подножку, — одуванчиков, колокольчиков. Бабочки-невесты плясали в воздухе свои брачные танцы, птицы свистали на все лады, осины плескали аплодисментами. Крупная сойка снялась с березы и снова села на нее повы-

ше, переменяя ветку, любопытно поворачивая голову на вновь прибывшего. Чуткий Бруно тут же представил себе, как бы он смотрел на мир, если бы был птицей: ведь глаза должны оказаться у нас на висках или даже там, где уши. Какое неожиданное поле обзора: вперед и назад сразу.

Бруно заставил себя не думать ни о Размике, ни о бензине, ни о книге, ни о всех тех делах, перечень которых, как всегда, торчит у него на листочке за козырьком в машине. Все. Ни о чем. Пусть будет так, как будет. И мысль придет та, какая захочет. Все прекрасно. Снять рубашку, лечь на солнце в траву. Как маленькому, подуть на одуванчик и радостно глядеть, как ветерок несет в сторону крошечный парашютный десант. Вот муравей бежит по гигантской травине до самого острия. Добежал, повертелся, все обнюхал, ощупал антенками, понял, что поживиться нечем, побежал назад. Как хорошо, прекрасно!..

Но едва Бруно смежил глаза, уставшие от яркого света, как перед ним понеслись машины, замерцали миражи — словно разлита свежая вода впереди на шоссе, — а затем явилось и лицо Ляли в очках, а в ушах забился крик Наташи: «Бруно! Бруно!..»

Что мы за люди! Бруно взглянул на часы, прошло не больше 15 минут — неужели? — а показалось так долго! — а он уже озирается, ища новых впечатлений. Кажется, за эти 15 минут он уже вполне наслаждался природой. Что поделаешь, если его дела в с е р а в н о не оставляли его. И эта милая полянка, похоже, уже н а с к у ч и л а ему: Он не привык ничего не делать, это противоестественно. Хотя бы собирать грибы, ягоды. Или играть на природе в мячик. Или купаться.

Словом, еще через пять минут Бруно был готов снова тронуться в путь.

Но понять это состояние, убедиться, что, по сути, эти травки и полянки нужны ему не более, чем на 15 минут, что он не знает ни этих трав, ни птиц, ни осинок, а занят своей вечной суетой, — понять это было грустно. «Вот так так», — говорил себе Бруно.

Но и об этом, между прочим, думать не хотелось — словно ты сам себя уличил в чем-то, разоблачил. Зачем?.. Между прочим, он спешит на зов друга, что ж тут плохого? Природа природой, а люди людьми. Кроме того, он предпочел бы море, если уж на то пошло.

Мысль о море повлекла за собой мысль о канистре, надо же запастись — вот он и оправдывает тем самым свою остановку.

К нему вернулись ночные разговоры: что они обязательно уедут через две недели в Крым, Бруно все бросит, в том числе и машину, и пламенно-синий Коктебель примет их в лоно своих бухточек, под сень тама-рисков и безумного света луны по ночам.

Бруно вышел с полянки к машине, резко воняющей среди трав своими горячими механизмами, поднял дверь багажника, разгреб хлам, достал канистру — ну, голубушка, вот и побил ваш час.

Бруно поставил канистру на дорогу, на горячий песок обочины. Потом подвинул ее на гравий, чтобы лучше был упор, и взялся за железную скобу пробки — скоба, кстати, тоже запузырилась ржавчиной. Он отвернул лицо, справедливо опасаясь, что пары бензина могут вырваться, как джинн из бутылки. Канистра была тяжелая, полная, двадцатилитровая, Бруно отвернул лицо и увидел, что на него глядят со стороны двое мальчиков — они только что вышли от дороги, из-за ельника, с самодельными кривыми удочками, в трусиках, один выше другого. Глаза их спрашивали: что, бензин, что ли, кончился?..

И кто потянул Бруно за язык, кто заставил его подмигнуть мальчишкам и сказать:

— Никак. Заело. У меня тут море, в канистре.

Все-таки, значит, настроение у него было хорошее, легкое, если он так шутил. Мальчишки, правда, никак не отреагировали на шутку, а младший обернулся, будто ожидая за собою кого-то еще.

Пробка между тем в самом деле не откидывалась. Бруно тянул, она не поддавалась. А ну! Он рванул с силой. И тут ощутил нечто — видимо, оттого, что стоял наклонясь, — что случилось с ним и раньше: моментальную, внезапную тошноту, головокружение, страх и почти потерю сознания: спазм сосуда в голове. Фу, черт, как некстати — главное, не упасть.

Пробка же все-таки отскочила с металлическим звоном, и канистра — оттого что Бруно подсознательно боялся ее, а теперь еще нетвердо попытался на нее опереться — вдруг будто нарочно вырвалась, крутанулась, булькая и брызгая в стороны — Бруно выпустил ее из рук, — и шлепнулась на бок, пустив из себя толстую прозрачную струю на каменистую дорогу.

Схватить и поднять канистру Бруно не мог, его медленно клонило на сторону, он делал судорожные вдохи и чувствовал, как страшный холодный пот охватывает тело. Если бы не стыд перед мальчишками, он бы упал на колени, на четвереньки, да, собственно, и падал уже, упал, о, черт! И близко перед собой он увидел бьющую из канистры струю и еще ухитрился увидеть оторопело глядящих мальчишек. И вдруг отчетливо, неведомо почему, по каким признакам, но отчетливо сообразил, что из канистры вытекает н е б е н з и н. Не было ни запаха бензина, ни густоты его, ни маслянисто-черного оттенка впитываемой раскаленным гравием жидкости.

Он понимал, что он в сознании, что, более того, спазм проходит, оставляя лишь слабость, сердцебиение и мокрое от пота тело — мокрое до такой степени, что даже штанины прилипают к ногам, — он в сознании, но будто и не в сознании: настолько необычно происходящее. В пору было махнуть в струю палец и понюхать: что это? Хотя он догадывался, ч т ó это, и лишь боялся признаться, произнести, назвать своим именем. Нельзя же признаться, что из его р ж а в о й канистры в шестидесяти километрах от Москвы, в лесу, хлещет на дорогу м о р е.

Сам он еще продолжал стоять на коленях, закрыв глаза, вслушиваясь в себя, борясь с дурнотой, но ему казалось, что он уже встает, смеется и мальчишки бегут к нему, подымая ногами тучи веселых брызг.

Это же удивительно — вокруг продолжают петь птицы, висеть низко березовые плакучие ветки, летать стрекозы, а по канавам блестит, набирается маленькое море. И уже можно пошлепать по нему ладонями, ногами ударить и плеснуть в лицо товарищу свежей, соленой на вкус водой. Это чудо, ребята! Вперед! Не верите? Я же вам сказал: море, и вот оно, море, пожалуйста! Я сам знал, что это так, я догадывался. Если два года верить и называть что-то тем именем, каким ты хочешь, то и бензин станет морем. Смотрите, я тоже бегу с вами в своих вытертых джинсах, в рубашке с погончиками, шлепая светлыми туфлями по воде. Я смеюсь, я легкий и стройный, смуглый и веселый, как мальчишка. Я схожу и с маху шлепаюсь в воду, все хохочут. «Дяденька! Дяденька!»

Бруно казалось, что он бежит назад, к машине, мокрый, по мокрому, все ровнее покрываемой морем траве, по дороге, уже скрытой водой с удивительно заигравшимися на дне камешками сухого прежде гравия. Вот и канистра, которую уже тоже скрыло море, она тоже на неглубоком — руку протянуть — дне и тоже обрела умытый свежезеленый вид. И Бруно будто бы достает ее из воды, уже пустую, и говорит: «Ну, канистра, ты даешь!..» И он знает, что теперь всегда, когда захочет, может вынуть ее, положить на бок, и она нальет целое море. И можно будет мчаться по нему на машине, как на катере, набив машину мальчишками.

Но, между прочим, как ехать? Надо идти теперь на дорогу, голосовать, просить у шоферов 76-й бензин. А дойду я? Донесу? Что ж так плохо? Канистру поднять не могу, а ведь она льется, и сам я стою колесами в луже. Мальчишек попросить?..

Бруно все-таки открыл глаза и увидел: за этими двумя мальчишками явился, подходит третий; постарше, лет двенадцати, в белой кепочке, тоже с удочкой. Также с удочкой, но еще, сопляк, с сигаретой во рту. Бруно увидел даже не сигарету, а табачный синий дымок. И его словно дернуло, он закричал: назад, назад! (Ему так казалось, но он не кричал, а лишь перестал склоняться все ниже к канистре.) Назад!

Небеса смотрели сверху на Бруно, своего любимца, не понимая, что с ним и зачем он свернул со своей дороги в этот лес?..

Старший мальчишка, важный и взрослый оттого, что он идет и покуливает, как большой, дойдя до приятелей, увидел на дороге машину с раскрытой, торчащей вверх дверью багажника, человека на коленях, склонившегося головой, канистру. Он спросил с презрением:

— Пьяный, что ли?

Приятели не отвечали.

И вдруг человек распрямился, сделал страшное лицо, закричал одними губами: назад! брось!.. Мальчишка понял, что обращаются к нему, бросить велют сигарету. Все было понятно. Как ни храбрись, а взрос-

лый есть взрослый, все удовольствие испорчено. Но он все-таки спрятал сначала сигарету за спину, выждал. Но когда увидел, что человек через силу хочет подняться на ноги и продолжает остервенело глядеть и кричать страшным лицом, бросил сигарету в сторону, в канаву, и отбежал.

И полыхнул лес синим коктейльным огнем.

## ТРЕНЕР

Люба обыкновенная женщина, рядовая, простая,— какие еще есть определения для таких женщин? Лицо круглое, курносое, русское, белое, светлоглазое, бровки то ли есть, то ли нет, Люба не красится, редко губы чуть мазнет, стесняется, волосы льняные, прямые, в последнее время стала их закручивать в пучок на затылке и закалывать шпильками, чтобы не мешали работать. Одета Люба— что в магазинах продают, в отечественное, дешевое и некрасивое, ест днем в столовке, а дома, что сама стоговит, что вдвоем с Витюшкой на семью достанут. Живет в огромном доме, в стандартной двухкомнатной квартире, в новом районе, сразу за метромостом, на 9-м этаже, горячая вода, отопление, мусоропровод возле лифта, все, как полагается. Муж Витюшка и двое детей, сын Яша и Люба-маленькая; не хватило у них фантазии, как назвать дочку, и Витюшка уперся: тоже пусть Люба. Любе уже пять, она в садике, садик, слава богу, рядом. Яше тринадцать, в седьмом классе, в школу ездит две остановки на троллейбусе. Сама Люба работает в большом научном институте экспедитором — считай, все равно, что на почте: институт большой, и экспедиция большая. До работы пятьдесят минут двумя транспортами: метро и автобусом, а с работы, бывает, часа два-три, потому что надо по магазинам. Витюшка устроился, когда переехали, близко — слесарем на ТЭЦ, ездит на велосипеде, даже зимой, очень доволен, потому что почти каждый день выпивает. Немного, а выпьет. Где они берут, как и чего, неизвестно, но после работы — всегда. Тайна. И едет веселый, черномазый, в лыжной шапке и телогрейке, на черном и старом велосипеде, который даже не страшно оставить внизу в подъезде.

Жизнь как жизнь, день за днем одно, работа, дети, стирка, готовка, телевизор, Люба гладит и смотрит, а Витюшка обязательно у телевизора уснет, что бы ни показывали, выпится, а в одиннадцать, когда Люба ложится, устала, и зевает, будто щука на песке, только умоется, руки истертые и иссушенные за день шпагатом и лентой, кремом намажет, наденет свежую чистую ночнушку до пят,— она с детства любит в длинном спать,— тут Витюшка со смехом, со щекоткой и глупыми словами начнет приставать и своего добьется. Добьется и вмиг уснет, а как ты, Люба, что ты, Люба, это ему до лампочки, спит, сопит, будто младенец, кудри свесит, во сне смеется. Люба встанет, походит, ощущая ногами непривычную длину рубахи, попьет компота из кастрюли или молока,

проверит детей, полюбуется румяной во сне Любой, удивится всякий раз, какие у Яши торчат здоровые ножки из-под одеяла, — в кого только растет такой здоровый? — и, недовольная Витюшкой, уснет тоже скоро, чтобы утром опять вскакивать по будильнику, будить и собирать детей в садик и школу. Словом, все нормально. Как у всех.

Летом, когда дети отправлены за город, можно погулять в парке и даже сходить на пруд в своем микрорайоне, или просто посидеть на балкончике, откуда видны с 9-го этажа дальние холмы и близкие трубы ТЭЦ с полосами, как на свитере. В праздники чаще всего ездят в гости к маме, — Любиной маме, Александре. Она тоже еще молодая, только пятьдесят лет, здоровая и крепкая, работает на производстве, в швейном цехе, зарабатывает хорошо, а живут они с младшим Любиным братом Сергеем, тоже в новой квартире, трехкомнатной, потому что Сергей, отслужив армию, сразу женился, жена его, Оля, только успев окончить десять классов, родила двойню, и благодаря этой двойне, Ванюше и Андрюше, и хорошей характеристике Александры с фабрики и была получена сразу трехкомнатная, — так же в новом районе, и рядом с метро, и мусоропровод у лифта, только этаж не 9-й, а 4-й.

А старого их дома, где жили раньше, где Люба выросла, стоявшего тесно вдоль улицы среди сплошь таких же малых домов, и в помине не осталось, и старой школы, и бани, и магазинчиков, все снесли, и Люба уже несколько лет и не бывала в родном своем районе. Как-то ездили с матерью к отцу на кладбище, мимо проезжали, видели, что на старом месте идет какая-то стройка, скрытая забором, повспоминали дорогой, как было, вот и все. И никакого прошлого у Любы не осталось. Ни дедов, ни бабок, их вроде никогда и не бывало. Во всяком случае, Люба их не знала. А у Витюшки и подавно, Витюшка вовсе из города Асбеста, детдомовский, ни отца, ни матери, приехал на экскурсию в столицу, и тут на Выставке достижений одним прекрасным летним вечером познакомился нечаянно с Любой: их было трое парней из Асбеста, а Люба с подружкой Светой, — любили тогда ездить на Выставку гулять, там казалось очень красиво, здания и фонтаны, которые подсвечиваются разными огнями, яблоки — висят прямо над головами, и много народу. И как это, ей-богу, случается, ничего не знаешь, не ждешь, поедешь погулять, и вдруг человек, — кто, откуда, почему? — встретились, поглядели, пошутили, познакомились, сошлись, и вот уже новая, совместная жизнь, он, я, нераздельно. Что это? Почему? Судьба?..

В сущности, мы, люди, очень открытые, доверчивые существа. Нам, почти как животным, которым достаточно обнюхать друг друга для знакомства и дружбы, тоже бывает довольно короткого взгляда и одной улыбки, чтобы довериться, увлечься и — вдруг повернуть всю жизнь, войти к чужим прежде людям, как к своим, в чужой дом, в чужой мир, иногда и вовсе в чужую страну, перешагнуть в иную эпоху. Желания и страсти влекут нас, словно микробов, к сочетаниям и соединениям, до того не существовавшим, к синтезу и делению, к взрыву мутации среди

миллиона копий. Один растворяется в другом, другой обретает новое качество, третий отторгает, четвертый пожирает пятого. Без сознания, без анализа. На биоуровне.

Вот и Люба: влюбилась, вышла, доверилась, растворилась, нарожала детей, — как все, а в сущности, ничего не ведая, кто да откуда, что из этого выйдет в конце концов. Но когда-то, рано или поздно, эта мысль приходит: как это все и зачем?

А теперь о тренере и о Яше.

Еще в прошлом году, в шестом классе, ребят в школе записывали в разные спортивные секции, и Яша записался на плавание. Уже тогда в доме раздалось впервые слово «тренер»: «Тренер велел купить плавки и шапочки». И пошло: «Тренер сказал, тренер не разрешил...» Оказалось, что в бассейн надо ездить почти сорок минут на метро, а тренировки три раза в неделю. Люба забеспокоилась, Яша и без того не очень хорошо учился, а проверять его было некому. Но Яша и слушать не захотел: буду ходить — и все. Записавшись в секцию, он даже плавать не умел, и Люба, которая сама всегда побаивалась воды, — какое уж там плавать! — боялась: не утонул бы.

Яша записался в секцию вместе со своим школьным другом Вовой, они ездили вдвоем, все же не так страшно. Яша вообще был мальчишка самостоятельный, не избалованный и не боязливый, только застенчивый. Этим — в Любу. Давно везде ходил и ездил сам, помогал по хозяйству, бегал по магазинам, сдачу приносил до копеечки. И был упрямым: уж что возьмёт в голову — не выбьешь. Это в бабуку Александру, в Любину мать: та тоже крутая, упорная, грубая, «упрется рогом», как Витюшка скажет. Любе иной раз не верилось, что Александра ее мать: так непохожи. Зато Яша — наследственность, словно минув Любу, перескочила прямо на Яшу, — на удивление похож. Люба узнавала в сыне то материнский упрямый наклон головы, то резкий смех. Глаза и волосы такие же черные. Когда Яша родился и Александра взглянула на внука, уже тогда произнесла: «Ну! Мой внучек, не спутаешь». И Любе с годами стало казаться, что Яша словно бы и не ее сын, хоть сама родила. Порода другая. Люба не помнила своего отца, но по фотографиям видно: тоже круглый, белесый, простоватый. А эти — точно вороны. Что же касается Витюшки, то он словно вообще не имел к этому отношения, одно родимое пятно перевел с себя на сына: на самом копчике, будто хвостик.

Ходит Яша в секцию, плавает, в ванной на просушке висят на трубе то одни плавки, то другие, и только и слышно: «бассейн, тренер, тренировки». Со всеми Яша уже давно не ест: покупает себе пачки «геркулеса», пакеты молока, яблоки, — так тренер велел. Мясо, мол, мне не надо, только молоко, овощи, кашу. Бывало, ни за что не заставишь крошку лука съесть, особенно если суп луком заправишь, — вот и будет сидеть, над супом рыдать, ложкой вылавливать. А теперь — смотрите: сырую луковичу режет и ест. Плачет, а ест. Тренер велел.



На Любины сочные, чесночные, ароматные котлеты, бывало, набросится, как тигр — оба с Витюшкой так и зацокают вилками, или — еще любят — между двумя ломтями белого хлеба котлету положить, пальцами сжать, чтобы сок побежал и так откусывать, хлебом бороду утирать, бутербродкотлетер — Витюшка шутит. Или сосиски: сварить не успеешь — сырыми съедят. Или жаркое. Рагу. И так далее... Нет, теперь на мясо и не смотрит. «Да что ж такое! — шумит Люба. — Отдельно тебе готовить, принц морской!» На что Яша угрюмо: «Не надо мне ничего, не буду, тренер не велел». И не ест. Витюшка говорит: «А чего ты, мать, расстраиваешься? Чем плохое питание: яйца, молочко, гречка, яблочки! Ты погляди на него». И в самом деле Яша за короткий срок даже через смуглоту свою порозовел, расправился, чистый-пречистый. Кстати, форму свою то и дело подсовывает стирать, а то и сам выстирает, смотришь, на трубе висит, и прополоснута, как надо, порошком не пахнет.

Отец говорит свои слова, вроде посмеивается, а Яша сердится в ответ: «Сами бы тоже мяса не ели, вред, убоина». «Чего, чего? — Витюшка спрашивает. — Смотри, каких слов наслушался. Это кто убоина?» «Мясо, животные». «Слыхала, мать, животные! Это кто ж тебе сказал?» Яша молчит, а Люба за него отвечает: «Кто! Тренер!»

Ох уж этот тренер! По его надо не по будильнику вставать, а самому, по каким-то своим часам, которые внутри есть у каждого. Зарядку в любую погоду делать на улице (спасибо, у нас балкон), да такую отмахать-отпрыгать, чтоб до пота. Потом обязательно в воду: в речку, в ванну, под душ в крайнем случае. Яша пакеты с морской солью таскает, разводит в ванне, ныряет в чуть теплую. Бывало: «Ма, иди помой меня, спину потри!» И стоит перед тобой, поворачивается, уже здоровый парнище, длиннорукий, длинноногий, волоски пробиваются. А теперь — дверь на задвижку: я сам! А Любу, наоборот, любопытство разбирает поглядеть.

«Надо поехать посмотреть, — говорит Витюшка. — А, мать? Поехали в субботу? Где он, твой бассейн?» «Нельзя, — отвечает Яша. — Тренер не велел». «Да я тебе отец, я хочу посмотреть!..» «Нельзя!»

Вот такой тренер. Но самое интересное, что мальчишка не только распрямился и окреп, но в самом деле стал сам ложиться вовремя, сам вставать, отметки в школе пошли лучше. «Тренер сказал, у кого тройки будут, отчислят». И сидит у своей лампы, закрывается тонкой дверью от телевизора — некогда смотреть, от сестренки Любы, чтоб не мешала.

Вместо тревоги Люба испытывала теперь к тренеру почти благодарность и почтительность. И, конечно, очень хотелось: увидеть и узнать, что за человек. Не раз спрашивала, а однажды изо всех сил пристала: «Ну, какой он у вас, тренер? Молодой?» Яша пожимал плечами: дети не понимают возраста, только старых не любят. «Высокий?» — Опять пожимает. «Маленький?» — Тоже нет. «Ну какой, какой?» «Никакой! Что пристала!» И вот тут, после этого о б ы к н о в е н н о г о «что пристала» Люба вдруг услышала неслыханное прежде: «Извини». Яша взглянул удив-

тельным быстрым виноватым взглядом и буркнул: и з в и н и. Люба не слышала у себя в доме этого никогда.

И тут Любина душа забилась, заволновалась и заплакала: это уже не овсяная каша и истовая зарядка, а д р у г о е, и видна чужая, крепкая рука. «И з в и н и». Настолько это не из их обихода и упрямому ее сыну не в свойство (мать Александра, пожалуй бы, так и села бы, если б услышала!), а он, однако, произнес это слово как бы и привычно: т а м, видно, так говорится.

Любина интуиция и без того срабатывала, угадывала перемены в мальчике, но теперь это «извини» и д о б р ы й взгляд почти испугали ее: уходит ее Яша, уходит, если уже не ушел, а они и не ведают.

Стоило признаться себе, обратить внимание, приглядеться, и Люба сразу обнаружила: это давно происходит: Яша п о м о г а е т. За ним самим не стало никакой уборки и даже стирки, готовки: размачивает в стакане свою гречку с изюмом и ест. Все за собой вымоет, сложит, заметет. Мусор выносит без всякого. Как-то сидит, Любе-маленькой книжку читает, — когда это было видано?

Кажется, надо бы обрадоваться, а Люба села потом и заплакала: точно, уходит от нее мальчик, отнимают у нее Яшу. Пусть и хорошее, да все же чужое, не родное. И еще сильнее захотелось ей увидеть тренера.

И тут Любу осенило: женщина! Девчонка! Ах, даже щеки загорелись, как же она раньше не догадалась. Ну, конечно. Все тогда ясно. Тренер! Тренерша, а не тренер! Вот как ларчик просто открывается. Мал еще, да ведь бывает. Что ни скажет, все исполнит. Именно так, весь секрет. И з в и н и. Кто у нас уводит сыновей? Тренеры? Тренерши! Вон они, в телевизоре: стоит на вышке в купальничке, на носочках, вытянулась, стриженная, сейчас прыгнет, руки по швам, и, как пуля, уйдет в воду... Нет, увидеть этого тренера, срочно. Поехать, убедиться. Да заодно и насчет еды — все равно поговорить надо.

У Яши пошел новый рацион: рыба. Рыба, рыба. «Тренер велел». А Люба сама не очень жалуется рыбу, не любит. А чего жена не любит, говорит пословица, муж не отведаст. Дух рыбий, когда варится или жарится рыбное, прямо с души воротит. Селедка еще ладно, или копченая, но свежая, а тем более живая рыба — не дай бог. Даже непонятно, откуда такое, но не любит она рыбу, не может. Ни разу в жизни не разделяла, не потрошила, не готовила свежую рыбу. Ни за что. А тут каждый день: «Мама, купи, мама, сварь! Я опаздываю». Люба-маленькая тоже чуть не в слезы: приходится из садика и уже с порога кричит: «Фу, гадость! как у вас пахнет! не хочу к вам идти!» Витюшке все равно, он смеется, ему крокодила дай — съест, а Яша ни на что не обращает внимания, и если мать не сварит, сам себе варит, в отдельной кастрюле, точно кошке, треску или окуня.

Эта рыба Любу доконала. Теперь постель Яши и подушка пахли рыбой и, как казалось, даже лоснились рыбьим жиром. Яшина голова и лицо жирно блестели. Люба-маленькая не хотела спать с Яшей в одной

комнате и в субботу-воскресенье ложилась с матерью. «Это ты всегда теперь будешь рыбой питаться?» — «Всегда!» — Яша делал губы кувшинчиком, напоминая Любе какое-то морское животное.

Однако где-то там, на своих соревнованиях, в бассейнах, секциях, в соперничестве с другими школами, Яша одерживал победы, и они с Вовкой, приезжая домой поздно, врывались часто возбужденные, смеялись, Вовка называл Яшу чемпионом.

Всякий раз Люба собиралась поехать с ними, но то время не совпадало, они уезжали днем, то занята была, то сам Яша, как всегда, отнекивался, а однажды просто убежал, хотя она совсем оделась, чтобы идти с ним. Гнала Витюшку — тот отшучивался.

А дни шли своим чередом, похожие один на другой, дни серой зимы: заболела Люба-маленькая, и Люба взяла бюллетень по уходу, побыла четыре дня дома, хоть навела порядок. Опять рвалась ехать с Яшей, но он сказал: «Да что ты, ма, тренер да тренер. Нормальный тренер, сиди, не хватало тебе еще там появляться!» И Люба вдруг смягкла, подумала, глядя на сына, который стал с нее ростом: чего я в самом деле, большой парень, пусть сам. Вроде успокоилась.

Но тут вдруг, с пятницы на субботу, приснился Любе сон. Да такой ясный, яркий, словно видишь кино. Будто бы Александра, веселая и озорная, едет в санаторий в Крым, в отпуск, и с нею еще женщины с фабрики (мать действительно летом ездила и рассказывала), и вот они уже стоят кучкой на берегу, песок, ветер треплет им волосы и платья, а рядом море, синее и глубокое, как в детской книжке про рыбака и рыбку, но то ли сильно холодное, то ли еще какое, и женщины в него не идут. И вроде с ними оказывается Яша, — выходит голый, в трусиках, высокий, но такой странный, не понять что, и у Любы даже во сне затомило сердце. Он усмехается, идет мимо женщин и прямо ныряет без всякого в это опасное море. Они галдят на берегу, а его нет и нет, Александра кричит: утонул, но он не утонул, одна Люба видит, что Яша плывет под водой — плывет, как рыба, руки по швам, только извивается телом. И лицо у него рыбы, на шею чешуя, но он смеется радостно, счастливый, и говорит Любе: мол, видишь, я сейчас всех обгоню на соревнованиях, ты не волнуйся, мне здесь очень хорошо. Тут к нему подныривает другая рыба, купальник в обтяжку в красную косую полоску, с женской грудью и женским взрослым лицом, хоть по виду девочка, смеется и кормит на ходу Яшу живой мелкой рыбой, достает из пластикового пакета. У Любы застыл в горле крик ужаса, она боится Яше помешать, но тут мать Александра и другие женщины выхватывают Любу из моря, и Люба видит себя еле живую, сморенно лежащую на берегу. А Яша с тренершей уплывают, как два дельфина. Навсегда.

Люба проснулась — плакала, а сон не растаял, а так и стоял весь день перед глазами, и Люба суеверно думала, что он в руку, плохой сон и что же теперь делать?

Прибежал Яша из школы, бросил сумку, переоделся, схватил сумку спортивную — на тренировку. Выпил стакан соку, съел овсяное печенье, все, больше есть нельзя. Люба ходила за ним, хотела рассказать сон, — он не слушал. И помчался.

И вот тут Люба вмиг собралась тоже. Сама не думала. Раз, раз, пальто, сапоги, шапку. Яшу видела в окно, как он выскочил из подъезда, — сама уже была одетая. Любе-маленькой, которая не в кровати лежала, а по дому теперь ходила, крикнула: «Я скоро». — И помчалась. Она знала, что станция метро такая-то, а там — пять минут ходу, спорткомплекс, а в спорткомплексе бассейн. Найдём.

Примерно на полдороге, в тесноте вагона метро, среди людей, едущих по делам, вдруг засомневалась: зачем еду, куда меня понесло? Даже неудобно. Но и повернуть теперь глупо. Она обращала внимание на каждого мальчишку с сумкой, но Яша, конечно, ей не попался. Там, где она вышла, мальчишек с сумками оказалось заметно много, все они двинулись в одну сторону, и Люба решила их держаться. Каждый был с сумкой, у каждого вязаная шапочка на голове, каждый в куртке, и походочки важные, в развалочку. Попадались и девочки, и совсем маленькие дети, которых вели бабки или матери.

Люба вышла на поверхность и оказалась в незнакомом и огромном городе. Дороги катили с холма на холм, всюду стояли невиданные ею прежде дома: синие, уступами, бесконечные, белые, серые, выгнутые крыши, широкие улицы, внезапный лес, еще стройка, грязь среди снега.

Вместе с детьми Люба шлепала по талому снегу и грязи, огромный корпус имел мелкий и почти тайный вход в одну стеклянную дверь: дежурная в пальто внаброску пила чай и грела руки о стакан, висели объявления, светили световые трубки, детские голоса звонко прыгали в гулких помещениях. В одном в белых одеждах и черных масках сражались на рапирах — да не один, не два, десятки малышей! В другом скакали во-круг столов, стукали белыми мячиками и круглыми ракетками еще десятки. Дальше — здоровые парни в спортивной форме бились в волейбол.

Люба очумела и заблудилась, спросить было некого, все или спешили, или играли, или болели, сидя немногими оглашенными группками, хлопая и выкрикивая непонятные слова. Наконец она узнала, где бассейн, пришлось выходить опять на улицу, искать другое здание, которое стеклянню светилось в густеющих сумерках. Там Любу не стал пускать дед с повязкой на рукаве, но она уломала его, он велел идти куда-то наверх, чтоб никто ее не видел, снять шапку и пальто нести в руках. Люба шла, шла, тыкалась в закрытые двери, крашенные в белый цвет, а за дверьми слышались тоже гулкие голоса, крики, точно в бане и как будто пахло паром... Наконец какая-то дверь сжалась над нею, отворилась, и Люба выступила на какую-то высоту, почти на воздух, в глаза ударил свет, бледно-голубая вода внизу, разлинованная вдоль дорожками, и по двум дорожкам кто-то плыл, бешено вздымая воду, — Люба сразу реши-

ла, что один из пловцов — ее Яша и стала прикованно туда глядеть, боясь входить дальше или сесть.

Она совсем оробела, увидев, что серые трибуны совершенно пусты. Спортсменов внизу тоже оказалось мало, сидели группками, в халатах и даже в куртках; иные прыгали и коротко бегали, массировали ноги; в мелком углу бассейна женщина-тренерша учила плавать девочек лет пяти-шести, не больше, — их крики наполняли огромное помещение.

Как Люба ни глядела, а Яши не находила, но видела других мальчиков и, например, молодого, с усиками, в обыкновенной курточке и свитере, низенького тренера, который шел по краю бассейна с часами в ладони и визгливым голосом кричал, командовал своим пловцом, и когда тот доплыл до конца, обругал его и махнул рукой без надежды.

Любу взяла тоска. Она видела, что откуда-то, должно быть, из раздевалок, приходят новые мальчики и девочки, и, может, появится скоро Яша, но ей стало страшно, если на Яшу тоже будут так кричать и обидно махать рукой. Она вглядывалась в женщин-тренерш, и особенно в одну маленькую и стриженую, которая что-то долго говорила двум паренькам, а потом — раз и сама прыгнула в воду и поплыла, пареньки рассмеялись... Здесь шла своя жизнь, Любе непонятная и Любу пугавшая, — чужая и, как ей казалось, опасная: будто она попала к летчикам или к военным, здесь что-то тайное, не ее ума. Она поняла, почему Яша не хотел ни ее, ни отца пустить сюда, и испугалась: не дай бог, он ее здесь увидит, застесняется. И она отступила, прижимая двумя руками к себе свое пальто, и пошла назад, так и не увидев сына, не узнав покровителя-тренера.

Опять спускалась гулками и пустыми, еще пахнущими новостройкой, но уже не метенными давно лестницами, путалась по коридорам, слышала разрывы то смеха, то воды, хлещущей из душа, видела голоногих детей, которые казались ей теперь почему-то не русскими, а может быть, немецкими или американскими, — а они тоже бежали мимо нее, словно мимо пустого места. Она уходила, убегала из этого дома почти со стыдом за себя, за неуместное свое любопытство и сомнительное право хотя бы знать, что тут делают с ее ребенком, которого она выносила, родила, одиннадцать месяцев кормила грудью. Кого это интересует, и поди попробуй скажи об этом деду с повязкой или любому тренеру. Пожалуй, на смех поднимут.

Люба вышла уже в раннюю темноту, в огни, в город без неба, не понимая, куда идти, испытывая одну потерю, больше ничего. Кто построил эти синие пирамиды домов, проложил дороги, трубу, из которой вылетают автобусы, сгоревший универсам и действующий спорткомплекс, где собраны сотни детей, — они и сейчас там прыгают, играют, стучат рапирами, бьют по мячу, бросаются с тумбы в воду, важничают, не огрызаются на тренеров, как те ни орут, и у каждого сосредоточенное, упорное выражение, такое же, как у других. Кто это все сделал, какой Тренер управляет этим? Почему Люба ничего не знает? К ней толь-

ко приходят и говорят: «Тренер сказал, тренер велел», а ты, Люба, исполняй, помалкивай, отдай сына.

Она сбилась, не туда пошла, какая-то женщина сказала: садитесь, мол, на этот автобус. Люба доверчиво влезла с передней площадки. Мелькнуло молодое, монгольское, с копной черных волос лицо водителя, которому не терпелось ехать и скорей закрыть дверь. Народу было немного, Люба плюхнулась на сиденье у окна, устала. Огонь в автобусе ярко горел, а снаружи липла темень, плохо видно. Но все же мелькали красные огни машин, светофоров,плыли опять дома, теперь освещенные. Автобус помчал, как безумный, и не останавливался. Должно быть, рейсовый. Все пассажиры, отвернувшись, глядели в окна, стараясь что-либо различить, и потом изредка переглядывались, как бывает, когда не знаешь, где едешь, а спросить стесняешься. Едем, и ладно. Привезут.

Но Любу томила и томила тоска, плакать хотелось, и ничего уже в голову не шло, и страшный сон забылся, и о больной Любочке, оставленной дома, не вспоминалось. Где она едет, куда? Она не знала. Никто не спрашивал, и она молчала. А за окном — или это казалось? — черно стоял лес, потом опять шел город, и еще город, и как будто один и тот же, а на самом деле другой. Мелькнуло красными буквами слово «Таллин». Белые фонари долго бежали по краю бесконечного моста. Рядом неслась электричка, потом товарняк с морозильниками сливочного цвета. Выплыл и загудел ярко освещенный грузовой пароход. Любе чудились голоногие дети в пионерских галстуках, которые идут строем. Люба отдавала утром дочку в детский сад, все сестры и воспитательницы были из-за эпидемии гриппа в белых масках, никого не узнать, и Люба шла и оглядывалась запоздало: кому она оставила дочку?.. Дети грузились летом в автобусы, махали за пыльными стеклами тонкими руками, уезжали. Куда? С кем?.. Парни в черных шлемах, в черной коже, на черно-красных мотоциклах неслись за автобусом. Осветилась нерусская надпись готическим шрифтом, аллея черных зимних деревьев была не по-нашему увита горящими лампочками. Дети, одетые, как гномы, шли гурьбой за парнем в полосатых чулках, весело играющим на дудочке. Юные матери, толкая перед собой одинаковые детские коляски, двигались на демонстрацию. В одной, широкой, сноха Оля везла Ванюшу и Андрюшу... Нет! — Хотелось закричать Любе. — Нет! Нет! Нет! Одно только слово. Почему? Кому — нет? Автобусу, который не останавливался и не останавливается, водителю с черной гривой, который и не видит, кого он везет? Городу, который строится быстрее, чем идет по нему автобус, и потому не может никак оборваться или переходит сразу в другой город? Кому — нет? Капралу, выдающему новобранцам подштанники? Своему сну, где рыльце у Яши рыбьим, дельфиным кувшинчиком? Кому — нет? Своей матке, — да пусть она лучше сохнет и никогда, никогда больше, никогда!..

— Женщине! У меня! В автобусе! Плохо стало! — кричал в автомобиле водитель, и Люба слышала, потому что уже приходила в себя, а двери стояли настежь. Женщина в очках держала ее под голову. Так Люба узнала, что беременна, что все сроки упущены, врачи откажутся вмешиваться, и еще через полгода, хочешь не хочешь, она опять родит сына.

## ЧЕРТОВО КОЛЕСО В КОБУЛЕТИ

*Памяти А.*

В августе на кобулетском пляже еще яблоку упасть негде, столько народу, а в сентябре, когда увозят в школу детей, уже тихо и пусто. Обнажается без людских толп сам пляж, «красота его бесконечности, бесконечность его красоты», как сказал поэт, и городок с его двухэтажными богатыми домами с торжественными наружными лестницами, — чтобы каждый, нисходя по такой лестнице, мог почувствовать себя князем, — и с «самой длинной в Европе», как утверждают кобулетцы, главной улицей. Но еще длиннее набережная, идущая на возвышении над пляжем, — теперь местные жители выходят сюда погулять и впервые за все лето могут по крайней мере увидеть друг друга, а то раньше растворялись среди отдыхающих масс. Набережная особенно хороша: люди мирно сидят, прогуливаются, любовются закатами, под ногами играют дети. Вообще наступает прекрасная пора. Позже рассветает, раньше темнеет, но солнце не уходит с неба весь день, и можно загорать. Иногда набегут тучи, прольется дождь, а то и всю ночь прошелестит, но потом опять солнце, сухо. Туманы, радуги, эти багряные пышные закаты, на которые ходят смотреть, точно в оперу, белая ослепительная луна. Под реликтовыми соснами дует прохладный ветерок, — летом он освежал, теперь заставляет натянуть свитер. В кофейне на набережной девушки переворачивают вверх дном крохотные белые чашечки, гадают на кофейной гуще. В закусочной наконец без очереди вам дадут шашлык или даже кефаль. В садах лопаются на ветках черный инжир. Дымок и запах жареного каштана надолго остаются в пальцах. Гинеколог из Тбилиси и стоматолог из Москвы ужинают за одним столиком в «Интуристе». Бархатный сезон. Покой.

Старого писателя катала в кресле-каталке по набережной совсем юная женщина, девушка на вид, — она могла быть ему внучкой, но все, кто сидел или гулял вечерами над морем, уже знали, что это не внучка, не дочка, не сиделка. И всех, разумеется, поражала эта пара. Женщины шептались и качали головами. Они приплыли пароходом в Батуми, там матросы снесли его на руках на берег по шаткому трапу, потом час ехали на такси, а на другой машине, которую вел сын бывшего друга Нико, — он и встречал писателя, — везли складное английское кресло со

сверкающими спицами. Нико был юн, растерян, при галстукке, похож на доброго Гиви, своего отца. Боже, как сам писатель был молод когда-то на этом берегу, — давно ли? Словно вчера, — и молода Этери, мать Нико, и какой вихрь крутился тогда за ним: друзья, поэты, женщины, бард с гитарой, рыбаки, моряки, — он написал после войны пьесу о военных моряках, они этого не забывали. Между прочим, он сам прошел войну и тонул однажды с эсминцем на подходах к Мурманску, участвовал в сопровождении английского каравана. Было, было, все было, и офицеры в белых кителях, горя золотыми погонами, хрустели по гальке пляжа.

Теперь не осталось никого и ничего. Только дети старых друзей, которых он видел в младенчестве. Гиви давно умер — писатель потом долго не мог простить себе, что не приехал на похороны, путешествовал по заграницам. А затем он купил себе дом совсем на другом берегу, в Прибалтике, уехал туда жить с женой, взрослой дочерью и внуками. Слава его росла, и он бежал от нее, чтобы работать. Но... вдруг на старости лет опять бросил все, ушел, — ну, просто пушкинский Алеко, и — словно в наказание — паралич, три месяца больницы, и теперь ничего: ни дома, ни семьи, ни архива, ни книг, ни друзей, — вот, кресло на колесах, болезненный шарф на шее, его ангел-хранитель рядом и любовь, новая любовь, которая сделала его счастливым. Ах, жизнь, не зря говорят, она самый лучший драматург и самый опасный игрок, никогда не знаешь, какую выбросит карту, как все повернет, — оглянешься назад, господи, что было всего год назад и что теперь, где я, кто, с кем?..

И почему, что за изощренность такая? У музыканта непременно отобрать слух, у художника зрение, у златоуста речь? О, он был мастер красноречия, как никто, умел найти словцо, он самовдохновлялся, точно соловей, пока говорил, и вот так, устно, оформлялись его сочинения: раз десять расскажет, проверит и — садись, записывай. А сколько не записалось, сколько переболталось, выболталось, было пущено на ветер, играючи, — спасибо, кое-что поподбирали друзья и ученики. Все помнят его стоящим на ногах, вдохновенным, жестикулирующим, — в одной руке всегда сигарета, в другой бокал с сухим белым вином, всегда загорелый уже в марте, худой, с загорелой лысиной и свисающими позади артистично седыми кудрями, с какой-нибудь супермодной деталью в костюме: белый ли пиджак, каких ни у кого еще нет, платочек ли на шее, шарф или блейзер с такими золотыми пуговицами, что не сниклись какому-нибудь капитану испанского парусника. Он никогда не сидел на месте больше одного месяца, любил самолеты и планеры, быстроходные скуттера и те секунды в хоккее, когда обе пятерки, слившись в одно, несутся к одним воротам; он сам был непрерывное движение, летун и поэт, и вот — пожалуйста, сбит, как птица влёт. «За что? — спрашивал он сам себя, и сам отвечал: — За все».

Теперь ему казалось, что все им написанное — постыдно, что жизнь состояла из ошибок, что по крайней мере раза четыре он свернул совсем на иные пути, а не туда, куда было нужно. Он умел и любил обольстить



и увлечь — мужчины влюблялись в него, верили и шли за ним, особенно молодые авторы, режиссеры, художники. Теперь это тоже он относил к своим грехам: неверно учил, не тому. А уж что касается женщин, — тут лучше умолкнуть. Умолкнуть и обратиться хотя бы к этому юному существу, студентке, девочке из московского пригорода, которая год назад послала ему на отзыв свои невинные стихи, — так они познакомились. Кто бы видел ее в вечер их приезда, после бурного, полного волнений дня, встречи с располневшей старой Этери в вечном трауре, с черным платком на седой голове, — как она плакала, обняв его! — с долгим застольем, печальными тостами, плюшевым альбомом с пожелтевшими любительскими фотографиями, где все стоят, обнявшись, все молоды, живы, любят друг друга, солнце бьет в глаза, и пальма зеленым фонтаном осеняет головы, — фотография есть, пальма есть, а людей нет, люди умерли или постарели, и невидимый ужас царапает сердце: ты тоже стоишь в этой очереди.

Да, но вот в конце концов она осталась с ним вдвоем, на «его» половине дома, на открытой террасе, увитой виноградником, — плотные, словно надутые, черные кисти обильно темнели среди зелени, терраса была защищена самим домом от моря и ветра. Она находилась с ним непрестанно, за весь год они не расставались ни на день. Она одна понимала его мычанье и отдельные, по-младенчески выталкиваемые слова, она одна могла ухаживать за ним, не причиняя ему мук стыда, удивительно научась накормить, одеть, причесать и все вытерпеть. Слава богу, она выросла в простой, многодетной и бедной семье. Кроме того, ей казалось, она виновата. Если бы хоть кому-то из людей, кто осуждал и шептался, пришла в голову самая простая мысль: а кто же и как его кормит, ухаживает, кто надел на него нарядную рубашку и повязал галстук, благодаря кому у него ухоженный и, можно сказать, элегантный вид в этом сверкающем кресле, с серым пледом на коленях, с наброшенным на плечи свитером или шарфом, в белой шляпе днем и темной фуражечке вечером, — если бы люди чуть-чуть пораскинули умом, они бы перестали судачить. Впрочем, где там, людям разве перестать. И как это она живет с ним, бедняжка, зачем, почему?

Между тем калека, как и бывает нередко с калеками, жил в самом мощном, даже для него непривычно-мощном духовном напряжении. И это отражалось на его лице, в горящем и полном жизни взгляде. Каждый человек, встречавший их на набережной, поражался кротости ее лица и пылкости его взгляда, — пронзительный, живой, полный интереса ко всему и реакции на все. Ко всем у: к младенцу на руках старухи, к поздней порхающей бабочке, к иностранным пожилым туристкам с одинаково подкрашенными и завитыми сединами, к школьникам в синей форме и красных галстуках, бредущим по пляжу после уроков.

Что ж, немудрено, его дар наблюдательности, его способность анализировать, синтезировать и творить никуда не делись. И его жажда творчества. И новая мысль, что и как надо. Все это лишь еще больше

обострилось без сублимации. Сейчас мы скажем, куда в основном двинулись эти мощные силы, но и на мелочи, на пустяки его хватало. Он совершенно не занимался своей болезнью. Он принял ее, как молнию, решил, что сам не может сделать ничего и что у него нет времени заниматься лечением, тем более что это бесполезно. Как это ни покажется странным, но он почти не мучился. Все муки он оставил за стеной клиники. В самом деле, ждать выздоровления, лечиться? Смешно. Тем более, что чувствовал себя замечательно. Счастье его не покидало.

Она была сама кротость? Пожалуй. Со стороны вполне можно было сказать: ангел. Если его глаза горели и жили открытой жадностью, то ее чаще всего оставались потуплены. Мир ее не интересовал. Она смотрела на него влюбленным взглядом — тем самым, когда говорят, что люди глаз друг с друга не сводят. Хотя, казалось бы, на что уж там смотреть очень молоденькой, хорошенькой, тоненькой и очень хорошо одетой девушке (никак не поворачивается язык назвать ее женщиной, до того она молода и весь облик ее и стать девические). Просто удивительно. И ее не интересовали ни смуглые Ясоны, светлокудрые шведы, приехавшие издалека, ни местные гордые колхидцы, у каждого из которых обязательно был хоть и небольшой, но настоящий кусочек золотого руна. И они пружинно выпрямлялись при виде ее фигурки в белых и легких развевающихся одеждах по моде того лета, с кисейной косыночкой, повязанной гладко по голове и спущенной сбоку, с виска узлом, — это был выходной наряд, или в маечке-безрукавке, в белых шортах и сандалиях днем. Парни дышали, как кони, и перебирали на месте ногами.

Люди пошушукались, потом привыкли — очень она была убедительна. Кроме того, просочились слухи из дома Этери, где давным-давно погасли звуки молодой жизни (Нико был скромный мальчик), но теперь опять (люди сами видели приезжали такси с базара, выгружали корзины. Этери командовала на летней кухне, почтальон приносил газеты и телеграммы, слышались звуки старого пианино и смех юной женщины, нормальный смех, — судите, как хотите, но чувствовалось: здесь поселились не убогие и подавленные, а счастливые люди. И толстая Этери со своей стенокардией, большими ногами, тяжко дыша, кивала под вечер головой и подтверждала: да, это так, конечно, они счастливые люди.

Что ж, так и должно было быть. Ему захотелось сюда, это он сам придумал, перебирая в памяти, где он жил особенно полно и работал, легко и много, — засчитывая день за месяц, — и тоже любил, заходилась от счастья. Вот так и надо жить, черт побери, шагать и петь — насистывать. Кто лямку тянет, кто у дураков на побегушках, кто сам себе не рад, те пусть, как хотят. А мы любимое дело ваяем, сил не жалеем, люди в конце концов спасибо говорят, чего не петь? Расшибло, разбило, порвало нервы, вывернуло и искалечило — печально. Но не до конца же, опять не до конца, душа жива, не до конца еще, жив, живуч человек, как червяк, извивается. Главное, «не дай мне, бог, сойти с ума», как говорил Пушкин, вот только не это, только бы до этого не допустить, это

уж последнее, край. Здесь я еще пока, как хочу, могу поступить, а там — хаос. Не дай бог. Образ безумного Мопассана, ползающего на четвереньках по больничной палате, приходил все время на память.

Нет-нет, мы живы, мозг горит еще жарче и ясней, чем всегда, и ангел мой со мной, — какой подарок судьбы под занавес, — а не почитать ли нам, душа моя, на сон грядущий книгу Иова?.. Так говорили его глаза, и трепетала правая рука, которая понемногу выучилась теперь даже держать карандаш, если, правда, она своею рукой сверху унимала ее нетвердость и двигалась этой своею рукой, легкой и безвесной, словно присевшая бабочка, поверх его руки по корявой обойной бумаге, которая одна выдерживала тыкающийся карандаш. И так он показывал на книгу, и так он дотрагивался до ее колена, и она понимала. Да-да, почитать библейскую книгу, столь вошедшую в моду во второй половине XX века, о несчастном и твердом духом Иове, которому бог дал все и отнял все, чтобы испытать: ну, человек, как ты и что ты можешь?..

Она читала, запинаясь, почти малограмотно и плохо понимая, она сроду не держала в руках Библии, но он показывал, что она читает не так, что надо перечитать и понять, ничего трудного нет, и она осваивалась и понемногу воодушевлялась. Ее слабый поэтический дар сообщил ей по крайней мере чувство слова и ритма, кроме того, ей так не хотелось быть перед ним дурочкой. И она напрягалась и постигала красоту и смысл древних стихов... Они любили друг друга и старались один для другого, — так просто.

Он и сюда не только ради себя ехал, он и ее вез. Чтобы увидела, его глазами увидела замечательный берег, воспетый поэтами, мать-Колхиду, горы — снежные горы, которые белеют вдаль, точно облака, и другие, темные, которые ниже и ближе, синие от своих тайн, и самые близкие — зеленые всхолмья, круглые, как овцы, от чайных кустов. Там горы и небо, здесь небо и море. Оно сверкает под солнцем, как корыто, где плещется ребенок, или мрачно бьет тяжелой зеленой бутылкой о берег в шторм. Причудливы декадентски-изломанные позы прибрежных сосен. Кругло-вопросительно лицо луны в полнолуние, когда невозможно спать. У нее восторженный свет, она полна, она миновала фазы ущерба и неполноценности. Стонет во сне бедная Этери, — всмотришься, пожалуйста, в ее мучнистое лицо, отвлечись от меня, это лицо самой доброты, вечной женской доброты, которая есть первая добродетель, — ты должна все увидеть, понять, как я, чтобы навсегда взять с собой, как мой последний, может быть, подарок. Лучшего я тебе не подарю.

Он не может работать, сочинять, но он не может не творить. Божий дар его таков, программа заложена: быть щедрым, чутким, талантливым, знать вкус и меру, быть артистом, уметь другого постигнуть лучше, чем себя. Он творит, обратив свой дар в чистый дар любви, творит ее каждый день, неустанно, без лени, начерно и набело, кусками, потоками, лучше сразу набело, потому что нет времени, но тем более в полную сил, непременно. Никаких фальшивых или ремесленных строчек.

Весь его опыт, силы, мощь, изощренный профессионализм, сама болезнь и печаль ухода — все в дело. Сбивается смерч крутящийся, набита гигантским зарядом грозовая туча, нагрета солнцем целая акватория — ради чего? Чтобы поместить в самую середину одну бедную девчонку с ее неопытностью, доверчивостью и чистым сердцем? «Ты девушкой к нему войдешь, как пела Офелия, но девушкой не выйдешь». Остановись, уже этого ей станет надолго. Нет, он идет все дальше и дальше, и пока у него хватает сил, чтобы побеждать себя самого.

Ему хочется обогатить и развить ее мозг, он старается, но еще не знает, что это и невозможно в столь краткий срок, да и не нужно. Это всего-навсего его собственное оперение, да и то только оперение, а не суть. А женщина всегда знает суть. Он упивается, он занят замечательным процессом созидания. А она понимает одно: что занят и что для нее, его. И нельзя сказать, чтобы труд его был впустую, — кажется, ничего не остается, никакого видимого результата, но это все равно, что сказать матери, которая тютюшкается со своим младенцем, что она напрасно с ним разговаривает, поет ему, улыбается и даже доверяет ему свои слезы, — он ведь все равно ничего не понимает. Нет, не напрасно! Тайна их близости накапливается целый день: каждое его слово и взгляд, каждое прикосновение есть выражение этой титанической работы любви, которая изливается из его полубезумных, умных глаз, окутывающих ее нежностью, — нет, она не променяла бы это ни на что. Льется и льется эта любовь, море его любви, а у нее, возможно, только река, но они сливаются, и вот она уже плывет в этом море легче, чем в настоящем, — тепло и прозрачно, она перестала бояться и, раскинув руки, держится на спине, потом ныряет и фыркает, тело ее узко и легкоподвижно и невесомо, точно тело рыбы в воде, — один удар хвостом, и она наверх, вниз, она свободна и открыта до конца, море проникает в нее, солью плещет по губам, и она засыпает потом вмиг, сама не зная как, в невесомости, во взвешенности, в медленном погружении в глубину — так тонет спящая рыба.

Она прекрасная ученица, преданный слушатель, простодушный зритель, который верит и чувствует: все правда, ему не лгут. И оттого она так доверчива, так покойна теперь и свободна, подвластна его ласке. Так было вначале, она успела понять, а теперь все больше случается, что и она талантлива и гибка, и часто поражает его незнакомым до тех пор ответным или призывным движением. Музыкант и инструмент, композитор и исполнитель, ваятель и изваяние — они достигают гармонии и высоты, чистоты композиции. Какое это в самом деле счастье — все отдать и все получить.

Разумеется, у нее на него уходят в с е силы — так он сумел захватить и покориť ее собою, но бывает, что не хватает и всех сил. Сегодня что-то ее беспокоит, она чуть ускоряет шаг, ей кажется, и с ним что-то не в порядке нынче, и сама устала, устала. Этери говорила, меняется погода, может быть, но есть еще что-то, что ее волнует. Что?.. Она не лю-

бит таких минут, потому что в свое время ее безжалостно предупредили обо всем анонимными письмами и звонками, страх за него убран в подсознание, он сам научил ее не бояться ничего и быть всегда ко всему готовой. Но все равно страх этот существует, помимо воли и сознания, и в такую минуту усталости сердце холодеет и обрывается. И она вдруг конкретно думает, что из Кобулету никуда нельзя дозвониться по-человечески.

Нет, она знает, он здоров, здоров, как ни странно, болезнь отняла у него движение, но тем больше осталось сил мозгу, сердцу — так, бывает, непомерно здоровеет обезноживший инвалид. Как и он сам, она больше боится за его мозг, который так возбужден, за неизбежный новый удар, последствия которого непредсказуемы. Сам он смеется, он фаталист и игрок, иногда они играют в карты или она раскладывает перед ним пасьянс, и его всегда возбуждает неожиданный выпад карты, и он говорит ей взглядом, смеясь, одну из своих любимых фраз: «Такой расклад».

Но он жадина, он всегда увлекается, всегда готов отыграться. Ему все мало. Вот и сейчас: уже возвращаются, пора, стало сыро, устали, но она слышит мычание-требование и, проследив за его взглядом, видит: он показывает в сторону парка. Зачем? Что ты хочешь?.. Он оживился, улыбается, просит: туда. Она поворачивает коляску.

Мы забыли сказать: в Кобулету есть еще одна городская достопримечательность: парк культуры и отдыха, гордость местных властей. Хотя весь берег сплошной парк. Но это для отдыха. А для культуры? И кобулетцы все сделали не хуже, чем в Тбилиси или в Москве. Карусели есть? Есть. Качели есть? Есть. Автомобильчики, которые толкают друг друга? Тоже есть. Пусть радуются наши дети. И есть даже «чертово колесо» — извините, «колесо обозрения». Сезон в парке еще не кончился, аттракционы работают, хотя народу совсем нет и время уже около девяти. Пусто, лишь одна парочка летает на цепной карусели, сталкиваясь в воздухе и смеясь, а две или три другие отправились на колесе, и лишь ради них оно скрипит и вращается.

Юный, саркастический, ленивый бес, скрывающийся под грузинским именем Шотик и кобулетской пропиской, в майке с обливявшимися буквами «ай лав», а кого именно «ай лав» совсем полиняло и застиралось, в пиджаке с завернутыми наружу подкладкой рукавами, обслуживал ввиду отсутствия публики все аттракционы сразу, похаживал мафиозной походочкой туда-сюда, сам отрывал билеты, похожие на трамвайные, и карман его пиджака свисал на сторону от скопившейся мелочи. Он с ухмылкой глядел вверх, где сшибались и разлетались со смехом качели, словно железные ящики из-под молока, которые кидает грузчик в фургон, и где повизгивала невидимая во тьме девушка-летунья, и сигарета свисала у него с губы, из угла рта, как клык Азazelло.

И у этого типа он стал просить, требовать, мычать: туда, туда, наверх! Она возражала, она не хотела, — как это будет? Сама панически бо-

ится высоты, никогда не отважилась прокатиться на такой штуке — ее вестибулярный аппарат плохо выдерживал даже подъем и спуск на лифте, — ну, зачем, зачем?.. Нет, он неумный, хотел, и все. А этот бес, этот Шота, усмехался и говорил: — Слушай, что ты, ну хочет дедушка поката́ться, пусть поката́ется, я сам его повезу!.. И как это все произошло, в две минуты, просто странно: Шота остановил колесо, легко поднял его и внес на руках в кабинку, и она сама помогала. А он горящим и веселым взглядом говорил, чтобы она не боялась за него, ему очень хочется, один-два круга, и все. И она переводила бесу: — Один-два круга, пожалуйста, не больше, я так волнуюсь. — Что ты волнуешься, слушай? — Бормотал бес. — Ему хуже будет? Нет, хуже ему уже не будет. — Он свистнул, и из темноты прибежал еще чертенок, младший брат, стал у ржавой коробки, откуда торчала рукоятка рубильника, сверкал белыми зубами, и вот — миг, и вся машина колеса, которая в темноте казалась ей адски-гигантской, заскрипела и заскрежетала разболтанным металлом, закачались и завизжали петлями некрашенные кабинки с номерами, и все поехало, поплыло. Бес согнулся над ним, придерживая, а он посылал ей глазами веселый привет, и рука двигалась, якобы маяла, и она в ответ стала тоже прощально махать и через силу улыбаться. Но глаза ее из-под косынки глядели изумленно и тревожно: происходило что-то, чего она не поняла, не могла взять в толк, не приготовилась: куда он, зачем, как же так?

А от беса несло табачищем и потом, он скалил рот в улыбке и по мере движения вверх приговаривал, дыша в самое ухо от скрюченности своей позы: — Красота, да?.. Луна, да?.. Море, да?.. Они медленно всплывали над соснами, над крышами, над дорогой с фонарями и огнями машин, над парком, где вдруг обнаружился и засиял подсвеченный мозаичный бассейн с цветными рыбами и осьминогом. И небо открылось, сизое от яркой луны, и сама луна, звезды и светлые облака. Свинцовое море, пепельные горы, белеющие дома.

— Смотри, смотри! — прошептали ему. — Вспомни! — Кабинка вдруг дернулась и стала на самом верху, закачалась и заскрипела, а за ней другие, что болтались ниже — это мальчик внизу нарочно остановил рубильник, чтобы они некоторое время могли посидеть там и все обозреть, — этот номер входил в сервис для самых почетных гостей, так бес приказал. И теперь он шептал: — Смотри, вспомни.

И он увидел: катит валы океан, свистит ураган, торчат как спички обрезанные пальмы; плывет по красным барханам верблюд, брякают его колокольцы; летит в облет белого Тадж-Махала белый вертолет; дочка Настя стоит у обледенелого сруба колодца в Егорьеве; старая сцена МХАТа блестит шляпками гвоздей; низкие облака и снег над Чикаго; старый букинистический на Лубянке; кавторанг Миша Кузнец, пробитый тяжелым осколком; опечатки четьрехтомника; Милка в короткой норковой шубе с почти под машинку остриженной головой; шведский король на премьере его «Метаморфозы»; вид из окна в Майори; оконце

в переплетной, где был он учеником; пограничный катер на Амуре; великий врач, нейрохирург Руже Картье входит в операционную, подняв белые руки, точно сдается; Галина Уланова, приседая в реверансе, подносит ему букет распорченных роз...

И вся ночь, весь мир, вся жизнь кричит ему: — Вот! Возьми! Что тебе власть над одной бедной девочкой и тепло одной маленькой руки? Где ты? Ты уже покоришь ее, что дальше? Еще весь мир ждет, чтобы ты покоришь его, не останавливаясь... Да и будь милосерден хоть раз, отпусти ее, что ей потом делать без тебя, она уже так отравлена твоей любовью, отпусти, ты опять не думаешь о других, а только о себе... Что ты хочешь, скажи? Все возможно, пока ты жив, а в загробное ты все равно не веришь. Здесь спасайся и здесь возьми все. Смотри, смотри, вот они, еще несутся: каменный мешок в Гарни, где человек сидел тридцать лет и писал великие книги; рояль Шопена; домик Юджина О'Нила в Коннектикуте; «Огни большого города» на кассете; чистая стопа бумаги и — хочешь? — новый дисплей, переделаем на русский шрифт, еле прикасаешься к клавишам, и он все пишет сам, тебе видно на экране, тут же правишь, и тут же падает отпечатанная страница...

— Нет! Мне не надо ничего, больше ничего, мой мир — она. И ничто на свете не заменит мне нашего душевного слияния. Она не знает, может не знать, что и кто она для меня, какая это степень, но я-то знаю. Может быть, дело даже не именно в ней, мог быть кто-то другой, чтобы испытать мое сердце: живо оно или нет, может или не может? Но это она, ее рука, ее глаза, ее пушок на скулах... любить и отдавать...

— Врешь, врешь, тебе хочется, тебе всего хочется — любить и брать — просто ты больше не можешь и выдумал себе свой маленький Эверест и вползаешь на него по три шага в день, — ну! ну! ну! — и вроде жив, вроде занят покорением вершины. А ты смотри — мастер Бочаров летит с Эвереста на дельтаплане: своими ногами влез, своими руками летит!.. А?..

— Отойди от меня, отпусти!

— Врешь, хочешь!

— Отойди!

— Ну тогда ее отберем, ее...

— Ее?

Он чуть не бросился головой вниз и ничего не увидел сначала, кроме облитых лунной сосновых крон. А потом разглядел: на вытоптанной множестве ног и слабо освещенной площадке стоит одиноко и поблескивает одна его пустая коляска.

Сердце перестало биться от ужаса. Как он мог оставить ее и забыть ради чертова колеса? Сердце сжалось, и кровь не долетела до мозга, как он мог?..

— Ну, еще одна потеря, мало ли было в жизни потерь, — усмехался бес, — ты вынесешь и это.

— Нет!

Кровь не долетела до мозга, и ужас пробил счастливец, словно электрический удар.

...А она была на месте, она тоже лишь в воображении сделала шаг в сторону, представила себе обиженно, как же так, ни с того ни с сего он променял ее на это колесо, уплыл в чужих руках, в детской нелепой игрушке, больной, беспомощный, но веселый, возбужденный новым впечатлением, ей в эту минуту не принадлежащий. Куда? Почему? А она осталась в растерянности, одна, в мгновенно образовавшейся вокруг пустоте, без него. Как так? Вот так и случится в одну минуту: он улетает, а она остается на земле, одна. Нет, не в этом дело, это она знает, а вот как же он: улетает, уже отрезался, без нее, бросив ее, охваченный другой идеей, ей неизвестной. Какой? О чем? Что его так потянуло?.. Как быстро он доверился, ушел от нее, почти бежал, растерянно прощался?.. Вдруг вот так и случится однажды, и он, выздоровевший, совершенно чужой, веселый, с огнями колеса в ставших непроницаемыми глазами, уйдет и не обернется? А она останется, в недоумении и обиде, и чертенок будет смеяться над ней со стороны... Она опомнилась, повела вокруг глазами, увидела себя: в каком-то парке идиотском, в неведомом городишке, на краю страны — почему, зачем?.. Вон дорога, «самая динная улица в Европе», бегут машины, выбежать, поднять руку, и — на вокзал, в аэропорт, прочь, куда угодно.

Только в воображении сделала она этот шаг, но сверху он ее уже не различил. Только в воображении пронеслась возможность (невозможность) потерять ее, и мозг не выдержал.

— Отпу... ссс... чё... чё...

И заскрипело, поехало вниз, в черное — где ты? — и все пропало.

— Что он говорит, что говорит, не понимаю? — плакала жена и промакивала красное и раздутое от слез лицо таким же малинового оттенка полотенцем. — Что ты, что? — Она вроде спрашивала, но сама отворачивалась, старалась не смотреть, боясь конца. Почти год это продолжается, и каждый день может быть последним.

— Чё... чё... коб... бе... — клокотало непонятное в запрокинутом горле, а глаза просили понять.

Врачи, их было двое, вели себя уже отрешенно, кратко говорили между собой, друзья застыли по углам, одна девочка-медсестра двигалась — прехорошенькая, в туго стянутом на талии халате, в накрахмаленной крепко белой шапочке, прихваченной кокетливо заколкой к волосам. Она ск онялась с другой стороны, напротив малиновой глыбы жены, делала укол в вену, нежно прося потерпеть, — рука была желтая и без того исколотая, а у девушки чистенькие, узкие, без маникюра пальчики, живые на почти неживой руке. Девушку только вчера нашли, угостили приходить за сто пятьдесят рублей, она вот сегодня, с утра пришла, и при виде ее некое оживление, фантазия задрожали в глазах умирающего, и он кричал про себя счастливым голосом: — Кобулет! Чертовое колесо! — И смеялся.

Никто не понимал.



## СОДЕРЖАНИЕ

Викинг . . . . .	3
Воронка . . . . .	11
Канистра . . . . .	21
Тренер . . . . .	29
Чертовое колесо в Кобулет	38

Михаил Михайлович РОЩИН

### ЧЕРТОВО КОЛЕСО В КОБУЛЕТИ

Редактор А. В. Караулов

Технический редактор Т. Е. Авдеева

---

Сдано в набор 11.03.87. Подписано к печати 22.05.87. А 00384. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учет-  
но-изд. л. 3,35. Усл. кр.-отт. 2,28. Тираж 80000. Изд. № 1522. Зак. № 349.  
Цена 20 коп.

---

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография име-  
ни В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП,  
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

## **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ 1982 ГОДА**

● Вы можете стать обладателем денежного выигрыша от 100 до 10 000 рублей, если приобретете облигации Государственного внутреннего выигрышного займа 1982 года.

● Облигации займа выпущены достоинством в 100, 50 и 25 рублей. Они свободно продаются и покупаются всеми сберегательными кассами.

● Выигрыши по займу установлены на пятидесятирублевую облигацию, включая ее нарицательную стоимость. По облигациям достоинством в 25 рублей выплачивается половина выигрыша.

● Владелец выигрыша в 10 000 рублей имеет право на внеочередную покупку автомобиля «Волга» или легкового автомобиля аналогичного класса, а выигрыша в 5000 рублей — автомобиля другой марки классом ниже (разница между стоимостью автомобиля и суммой выигрыша доплачивается владельцем выигравшей облигации).

**Российское республиканское  
Главное управление Гострудсберкасс СССР**